

Иван
ШИМЕЛЕВ

Солнце мертвых



Иван Шмелев

Солнце мертвых (сборник)

«ЭКСМО»

Шмелев И. С.

Солнце мертвых (сборник) / И. С. Шмелев — «Эксмо»,

ISBN 978-5-699-73291-3

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) – выдающийся русский писатель, великий мастер образа и слова, сохранивший в своих произведениях память об особенном русском укладе жизни и быта. Это и есть для «самого распрерусского» писателя живая и первородная ткань русской жизни. «Последний и единственный из русских писателей, – по слову А. И. Куприна, – у которого можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка».

ISBN 978-5-699-73291-3

© Шмелев И. С.

© Эксмо

Содержание

Человек из ресторана	6
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Иван Шмелев

Солнце мертвых (сборник)

© Шмелев И. С., наследник, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Человек из ресторана

I

...Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте – тридцать восемь лет, можно так сказать, в соку кипел, – но после таких слов прямо как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека... Захотел от собаки кулебяки! А тут при Колюшке и такие слова!..

– Не имеете права елозить по чужой квартире! Я вам доверял и комнату не запираю, а вы с посторонними лицами шарите!.. Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага!..

И пошел... И даже не пьяный. Чисто золото у него там... А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал, – и накинулся.

За человека не считаете, и то и се!.. А мы, напротив, с ним всегда очень осторожно и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловоредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про мое занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нем, что я при ресторане. Вот Кривой-то, жилец-то наш – фамилия ему Ежов, а это мы его промежду собой звали, – и ударил в этот пункт. По карманам гуляю! Чуть не зашиб я его за это слово, но он очень хитрый и моментально заперся на ключ. Потом записку написал и переслал мне через Лушу, мою супругу. Что от огорчения это он и неустройства, и предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил. Только бы очистил квартиру, потому прямо даже страшный по своим поступкам... И на глаза-то всегда боялся показаться – все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово... И часто он потом мне все замечания делал:

– Видите, папаша... Всякий негодяй может ткнуть пальцем!..

А я смолчу и думаю себе: молод еще и не понимает всей глубины жизни, а вот как пообтрется да приглядится к людям – другое заговорит.

А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать, очень обидно! Ну лакей, официант... Что ж из того, что по назначению судьбы я лакей! И потом, я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ, швейцарам, строгий наказ дан, а все больше люди обстоятельные бывают – генералы и капиталисты, и самые образованные люди, профессора там, и вообще, коммерсанты, и аристократы... Самая тонкая и высшая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба, и надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого неудовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно как сквозь огонь пропускают, как все равно в какой университет. Чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое и без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими-подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием и глядеть так, как бы и нет тебя вовсе, а ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не лакей, а как все равно метрдотель из второклассного ресторана.

– Ты, – говорит, – исполняешь бесполезное и низкое ремесло! Кланяешься всякому прохвосту и хаму... Пятки им лижешь за полтинники!

А?! Упрекал меня за полтинники! А ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал за все – и за поклоны, и за унижение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное! И брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые он учил, и сапоги, и все! Вот что значит, что он ничего-то не знал из жизни. Посмотрел бы он, как кланяются и лижут пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений! Я-то всего повидал.

Как раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия господина министра, и я с прочими номерами был приставлен к комплекту, сам собственными глазами видел, как один важный господин, с орденами по всей груди, со всею скоростью юркнул головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорее моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело по полу елозить за платками... Поглядел бы вот тогда Колюшка, а то – лакей! Я-то, натурально, выполняю свое дело, и если подаю спички, так подаю по уставу службы, а не сверх комплекта...

Я как начал свою специальность, с мальчишек еще, так при ней и остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосгаписберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подает на разговор и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали...

И обличьем я не хуже других. Даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степанычем, – наши все смеялись. Оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак сшит поровней и матерьялец получше. Ну, живот у них, правда, значительней, и пущена толщенная золотая цепь. А тоже лысинка и, вообще, в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. А если их пробрить да нацепить на бортик номер, очень бы хорошо сошли заместо меня. И у меня бумажник, но только разница больше внутренняя. У них бумажник, конечно, вздут, и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки, а у меня бумажник сплюснен и никаких колеров не имеется, а заместо вексельков вот уже три недели лежат две визитные карточки: судебного кандидата Переклылова на двенадцать рублей, по случаю забытых дома денег, и господина Зацепского, театрального певца, с коронкой, на девять рублей по тому же поводу. Вот уже они три недели не являются и думают не платить, но это – подожди, мадам! Таких господ и у нас немало, и если бы платить за всех забывающих, так не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю.

Есть которые без средств, а любят пустить пыль в глаза и пыжятся на перворазрядный ресторан, особенно когда с особами из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особенно при требовательности избалованных особ женского пола... Ну и не рассчитают паров. И нехорошо даже смотреть, как конфузятся и просматривают в волнении счет и как бы для проверки вызывают в коридор. Даже с дрожью в голосе. Потому стыдно им перед особами. Ну на страх и риск и принимаешь карточки. И выгодно бывает, когда в благодарность прибавят рублика два. Это ни для кого не вредно, а даже полезно и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степаныч, когда завтракают с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь два дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с третьим, по случаю торгов.

А потом с ними ведут дружбу Василь Василич Кашеротов, «первой помощи человек», как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент и получить пользу. А совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что... Даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре и любитель, особенно обожают послушниц и достигают по своему влиянию и жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков будто некоторые очень шикарные

дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да-а!.. Что значат деньги! А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние, ввиду гниения зубов.

Конечно, жизнь меня тронула, и я несколько облез, но не жигуляст, и в лице представительность, и даже баки в нарушение порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера бритые, но когда директор Штросс, нашего ресторана, изволили меня усмотреть, как я служил им – у них лошади отменные на бегах и две любовницы, – то потребовали метрдотеля и наказали:

– Оставить с баками.

Игнатий Елисеич живот спрятал из почтения и изогнулся:

– Слушаюсь. Некоторые одобряют, чтобы представительность...

– Вот. Пусть для примера остается.

Так специально для меня и распорядились. А Игнатий Елисеич даже строго-настрого наказал:

– И отнюдь не смей сбрить! Это тебе прямо счастье.

Ну, счастье! Конечно, виду больше и стесняются полтинник дать, но мешает при нашем деле.

Вообще вид у меня очень приличный и даже дипломатический – так, бывало, в шутку выражал Кирилл Саверьяныч. Кирилл Саверьяныч!.. Ах, каким я его признавал и как он совсем испрокудился в моих глазах! Какой это был человек!.. Ежели бы не простое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего! А у него и теперь парикмахерское заведение, и торгует духами. Очень умственный человек и писал даже про жизнь в тетрадь.

Много он утешал меня в скорбях жизни и спорил с Колюшкой всякими умными словами и доказывал суть.

– Ты, Яков Софроныч, облегчаешь принятие пищи, а я привожу в порядок физиономию, и это не мы выдумали, а пошло от жизни...

Золотой был человек!

И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прямо нельзя поверить, что это я самый и что меня, случалось, иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете, а раз... А ведь я все-таки человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и понимаю тонкость приличия и обращение даже с высшими лицами. И потом, у меня сын был в реальном училище, и дочь моя, Наташа, получила курс образования в гимназии. И вот при всем таком обиходе иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать... Такие тонкие по обращению и поступкам и говорят на разных языках!.. Так деликатно кушают и осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул уронят, и тогда извиняются, а вот иногда...

И вот такой-то вежливый господин в мундире, на груди круглый знак, сидевши рядом с дамой в большущей шляпе с перьями, – и даму-то я знал, из какого она происхождения, – когда я краем рыбьего блюда задел по тесноте их друг к дружке за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал – виноват-с, потому что же я могу сказать? Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить и благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл Саверьяныч по шустроты и оборотливости ума своего обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей, и все-таки это нехорошо. Он даже говорил про книгу, в которой один ученый написал, что всякий труд честен и благороден и словами человека замарать нельзя, но я-то это и без книги знаю, и все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как не испытано на собственной персоне, ему хорошо, как у него заведение, и, если его кто болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал и уже не попадешь в первоклассный

ресторан, потому сейчас по всем ресторанам зазвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его никто болваном не обзовет. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за свой, а то и за чужой целковый барина над тобой корчит, так другое бы сказал. По книгам-то все гладко, а вот как Агафья Марковна порасскажет про инженера, так и выходит на поверку...

Ужинали у нас ученые-то эти. Одного лысенького поздравляли за книгу, а посуды наколотили на десять целковых. А не понимают того, с кого за стекло вычитает метрдотель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться! Они по раздражению руки в горячем разговоре бокальчик о бокальчик кокнул, а у тебя из кармана целковый выхватили. Это ни под какую науку не подведешь.

Поглядишь, как Антон Степаныч деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает, так вот и думается, за какой такой подвиг ему все сие ниспослано – и дома, и капиталы, и все? И нельзя понять. И потом, его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда.

Как был ежегодный обед правления господ фабрикантов, у которых Антон Степаныч дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты и даже всесветный миллионер Гуцин. И за веселым обедом – сам слышал – этот самый господин Гуцин хлопнет Антона Степаныча по ляжке и вытянет:

– Да уж и жу-у-лик ты, золотая голова!

И все очень смеялись, и Антон Степаныч подмигивал и хвастал, что не на их лбу гвозди гнуть. А как прибыли потом француженки на десерт, так одна попробовала тоже господину Гуцину потрафить и тоже Антон Степаныча жуликом, а у ней все выходило – жу-у-лик, – так погоди! Очень из себя господин Глотанов вышли и в нетрезвом виде, конечно, крикнули:

– Всякая... такая... тоже!..

Очень резкое слово произнесли и употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к нашему ресторану осталось без последствий. А у девицы все платье зернистой икрой забрызгали... Целый жбан перевернули! Всего бывало.

Смотришь на все это, смотришь... А-а... Несчастные творения Бога и Творца! Сколько перевидал я их! А ведь чистые и невинные были, и вот соблазнены и отданы на уличное терзание. И никакого внимания... Придешь, бывало, домой, помолишься Богу и ляжешь... А за стенкой Наташа. Тихо так дышит... И раздумываешься... Что ожидает ее в жизни? Ей не останется от нас купонов и разных билетов, выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы, в доме коих я тогда квартировал.

II

Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло... Таким ужасным ходом пошло, как завертелось...

Как раз было воскресенье, ходил я к ранней обедне, хотя Колюшка и смеялся над всяким религиозным знамением усердия моего, и пил чай не спеша, по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в двенадцать часов дня. И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой, Кирилл Саверьяныч, который был в очень веселом расположении: очень отчетливо прочитал Апостола за литургией. И потом говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники – для полезных разговоров.

И когда заговорил про религию и веру в Вышнего Творца, я, по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Саверьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Колюшка никогда не ходит в церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить. Тогда мой Колюшка сказал:

– Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении. – И даже перестал есть пирог. – Вы, – говорит, – ни науки не знаете, ни даже веры и религии!..

Я не знаю веры и религии! Ну и хотел я его вразумить насчет его слов. И говорю:

– Не имеешь права отцу так! Ты врешь! Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в холуи тебя, как ты про меня выражаешься... – Так его и передернуло. – А если бы я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством! И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства... И горько мне, горько...

И Кирилл Саверьяныч даже в согласии опустил голову к столу, а Колюшка мне напротив:

– Оставьте ваши рацеи! Если бы, – говорит, – вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления Богу не нужны, если только он есть!

Ведь это что такое! Я ему про веру и религию, а он свое... Клял я себя, зачем по ученой части его пустил. Охапками книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточный... И злой стал, прямо как чумной, и исхудал.

Я на него пальцем погрозил за его слово о Творце, и Кирилл Саверьяныч так это на него посмотрел – очень он мог так, и рот, бывало, скосит – а тот как вскочит! И стал всех... и даже... известных лиц ругать и называть всякими словами, так что было страшно, и Кирилл Саверьяныч пришел в беспокойство и все покашливал и поглядывал в окно.

– Напрасно старались! – прямо кричит. – Знаю, какого вам благородства нужно! Тут вот чтобы!.. – в пиджак себя тыкать стал. – Так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие!

Прямо как сумасшедший. А? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы от платы освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали и я им угождал и повара Алексей Фомича просил отменно озаботиться, они в снисхождение моим услугам сделали льготу. И три раза прошение подавал с изложением нужды, и счета... сколько раз укорачивал – можно это при сношении с марочником на кухне – и внимания добился. И за все это такие слова!

Но тут уж сам Кирилл Саверьяныч стал ему объяснять:

– Вы, – говорит, – еще очень молодой юноша и с порывом и еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья! – Прямо замечательно говорил! – Вера же и религия смягчит дух. И вот, – говорит, – смотрите, что будет с науками. Я, – говорит, – сейчас, конечно, парикмахер, и если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь десять минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот как изобрели машинку, то могу в одну минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать. И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные и образованные, а нам пока всем терпеть и верить в промысел Божий. Этого вы не забывайте!

Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Колюшка не унялся и прямо закидал Кирилла Саверьяныча своими словами:

– Не хочу вашей чепухи! А-а... По-вашему, пусть лошадка дохнет, пока травка вырастет? Вам хорошо, как вы духами торгуете да разным господам морды бреете не своими трудами! Красите да лак наводите, плеши им прикрываете, чтобы были в освеженном виде!..

Кирилл Саверьяныч осерчал, как очень самолюбивый, и даже поперхнулся.

– Евангелие, – говорит, – сперва разучите, тогда я с вами буду толковать! Я философию прошел! Вы сперва с мое прочтите, тогда... Я вашего учителя научу, а не то что...

И пальцем себя в грудь. Ну и мой-то ему тоже ни-ни... Тот пять – он ему двадцать пять! Тоже много прочитал.

– А-а... Вы на Евангелие повернули! Так я вам его к носу преподнесу! Веру-то вашу на все пункты разложу и в нос суну! Цифрами вам ваши машины переставлю, лохмотьями улицы запружу! Такого вам Евангелия нужно? Вы, – говорит, – на нем теперь бухгалтерию заносите за бритье и стрижку!..

И прямо как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный. Ну и здесь тоже Бог не обидел. Бегаёт по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошел про жизнь говорить, и про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препрославных людей поминает... и печатает. И про историю... Откуда что берется. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чем благородство жизни!

Кирилл Саверьяныч совсем ослаб и только рот кривил. Но это он так только, для вида ослаб, а сам приготавливал речь. И начал так вежливо и даже рукой так:

– Это с вашей стороны один пустой разговор и изворот. Это все насилие и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно. Я очень хорошо знаю политику и думаю, что...

А Колюшка как стукнет кулаком по столу – посуда запрыгала. Он широкий у меня и крепкий, но очень горяч.

– Ну это предоставьте нам, думать-то, а вы морды брейте!

Очень дерзко сказал. А Кирилл Саверьяныч опять тихо и внятно:

– Погодите посуду бить. Вы еще не выпили, а крикаете. И потом, кто это вы-то? Вы-то, – говорит, – вот кончите ученье, будете инженером, мостики будете строить да дорожки проводить... Как к вам денежки-то поплывут, у вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кой-где лежит и прикладывается. И домики, и мадамы декольте... С нами тогда, которые морды бреют-с, и разговаривать не пожелаете... Нет, вы погодите-с, рта-то мне не зажимайте-с! Это потом вы зажмете-с, когда я вас брить буду... И книжечки будете читать, и слова разные хорошие – девать некуда! А ручками-то перчаточными кой-кого и к ногтю, и за горлышко... Уж всего повидали-с – девать некуда! А то правда! Правда-то она... у Петра и Павла!

Прямо завесил все и насмарку. Необыкновенный был ум! Колюшка только сощурился и в сторону так:

– Вам это по опыту знать! А позвольте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете?

И только Кирилл Саверьяныч рот раскрыл, вдруг Луша вбегает и руками так вот машет, а на лице страх. Да на Колюшку:

– Матери-то хоть пожалей! Погубишь ты нас! Кривой-то ведь все слышал!..

Ах ты господи! О нем-то мы и забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с околоточным убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс «Невозвратное время» до трех ночи. Никому спать не давал, а если замечание – сейчас скандалить:

– Еще узнаете, что я из себя представляю! Думаете, писарь полицейский? Не той марки! У меня свои полномочия!

Прямо запугал нас. И такая храбрость в словах, что удивительно. Время-то какое было! А то бросит гитару и притихнет. Луша в щелку видала. Станет средь комнатки и волосы ерошит и все осматривается. И клопов свечкой под обоями палил, того и гляди – пожар наделает. Навязался, как лихорадка.

Так вот этот самый Кривой – у него левый глаз был сощурен – появляется вдруг позади Луши в новом пиджаке, лицо ехидное, и пальцем в нас тычет с дрожью. И по глазу видно, что готов.

– Вот когда я вас устерег! Чи-то-ссс?! Вы меня за сыщика признавали, ну так номером ошиблись! Я вам поставлю на вид политический разговор! Чи-то-ссс?!

Знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе, молчу. Колюшка отворотился – не любил он его, а Кирилл Саверьяныч сейчас успокаивать:

– Это спор по науке, а не насчет чего... И не желаете ли стаканчик чайку...

Вообще тонко это повел дело.

– И мы, – говорит, – сами патриоты, а не насчет чего... И вы, пожалуйста, не подумайте. У меня даже парикмахерское заведение...

А Кривой совсем сощурился и даже боком встал.

– Оставьте ваши комплименты! Я и без очков вижу отношение! Произвел впечатление?! Чи-то-ссс?! Я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко по моему образованному чувству, но раз мною пренебрегли и гоните с квартиры, как последнюю сволочь, не могу я допустить! И ежели ты холуй – это мне-то он, – так я ни у кого...

Очень нехорошо сказал. Как его Колюшка царапнет стаканом – и залил всю фантазию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл Саверьяныч Колюшку за руки схватил, я Кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил, Луша чуть не на коленки, умоляет снизойти к семейному положению, и Наташа тут еще, а Кривой выпучил глаза, да так и сверлит и пальцем в пиджак тычет. Такой содом подняли... А тут еще другой наш жилец появился, музыкантом ходил по свадьбам и на большой трубе играл, Черепяхин по фамилии, Поликарп Сидорыч, сложения физического... И сейчас к Наташке:

– Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора...

И сейчас на Кривого:

– Я вам голову оторву, если что! Насекомая проклятая! Сукин вы сын после этого! При барышне оскорбляете!..

И его-то я молю, чтобы не распространял скандала, но он очень горячий и к нам расположен. Так и норовит в морду зацепить.

– Пустите, я его сейчас отлакирую! Я ему во втором глазе затмение устрою! Сибирный кот!..

А Кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл Саверьяныч его просил:

– Вы молодого человека хотите погубить, это недобросовестно! Это даже с вашей стороны зловредно! Дело о машинах шло и сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку...

А тот себя в грудь пальцем и опять:

– Я знаю, какая тут подкладка! Он мне новый пиджак изгадил! Я не какой-нибудь обормот!.. У меня интеллигентные замашки!

– Это мы сделаем-с... – Кирилл Саверьяныч-то. – Отдадим в заведение и все выведем. У меня и брат двоюродный у Букермана служит...

– Дело, – кричит, – не в пиджаке! Вы на пиджак не сводите! Тут материя не та! У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить! Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит!..

Я, конечно, чтобы не раздувать, Колюшке шепотом:

– Извинись... Ну стоит со всяким...

– И пиджак мне чтобы бесприменно новый!

А Колюшка как вскинется на меня:

– Чтобы я у такого паразита!..

– А-а... Я паразит? Ну так я вам пок-кажу!..

Сейчас в карман – раз, и вынимает бумажку. Так нас всех и посадил.

– А это чи-то-ссс?! Паразит? Сами желали-с, так раскусите циркуляр! До свидания.

И пошел. Кирилл Саверьяныч за ним пустился, а я говорю Колюшке:

– Что ты делаешь со мной? Я кровью тебя вскормил-воспитал, от платы тебя освободили по моему усердному служению... А?! И ты так! Что теперь будет-то?

– Напрасно, – говорит, – себя беспокоили и всякому каналье служили! Не шпана за меня платила, которая сама сорвать норовит... А Кривой, пожалуй, и не виноват... Где падаль, там и черви.

– Какие черви?

– Такие, зеленые... – И смеется даже!..

– Да ты что это? – говорю ему строго. – Что ты из себя воображаешь?

– Ничего. Давайте чайку попьем, а то вам скоро в ваш ресторан...

– Ну, ты мне зубы не заговаривай, – говорю. – Ты у меня смотри!

– Чудак вы! Чего расстроились? Я вас хотел от оскорбления защитить...

– Хорошо, – говорю, – защитил! Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие ты речи говорил... Сам видишь, какой каверзник! Он теперь тебе и в училище может повредить...

А тут Кирилл Саверьяныч бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств.

– Ушел ведь! Должно быть, в участок! И меня теперь с вами запутают... Меня все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня! Ты помни, – говорит. – Я про машины говорил, и про науку, и насчет веры в Бога и терпения... Теперь время серьезное, а мне и без политики тошно... Дело падает.

Схватил шапку и бежать. И пирога не доел. Что делать! Хотел за ним, совета попросить, смотрю: а уж без двадцати двенадцать – в ресторан надо. А день праздничный, бойкий, и надо начеку быть.

Иду и думаю: и что только теперь будет! Что только будет теперь!

III

И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышла. Игнатий Елисеич новое распоряжение объявил:

– С завтрашнего дня чтобы всем номерам подковаться для тишины!

Шибко у нас смеялись, а мне не до смеху. Слушаешь, что по карточке заказывают и объясняют, как каплунчики ришелье деландес подать, а в голове стоит и стоит, как с Кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, – у них очень большой живот, и будто в них глист в сто аршин живет, в животе, – который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды, подняли крышечку со сковородки – и никогда не велят поднимать, а сами всегда и даже с дрожью в руке – и обиделись. Сами при пятнадцатом номере заказывали, чтобы им шафруа из дичи с трюфелями, а отправили назад.

– Я, – говорят, – и не думал заказывать. Это я еще вчера пробовал, а заказал я... – заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. – Я стерлядки заказал!

Пожалуйте! А я так явственно помнил, что шафруа, да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И метрдотель записал на меня ордер на кухню. Хоть сам ешь! Да на кой они мне черт и шафруа-то! В голове-то у меня – во-от!

И что такое с Колюшкой случилось, откуда у него такие слова? Рос он рос, и не видал я его совсем. Да когда и видеть-то! На службу уходишь рано, минуту какую и видишь-то, как он уроки читает, а придешь ночью в четвертом часу – спит. Так и не видал я его совсем, а уж он

большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький... Точно у чужих рос. И не приласкал я его как следует. Времени не было поласкать-то.

И вот не по нем была моя должность. А я так располагал, что выйдет он в инженеры, тогда и службу побоку, посуду завести и отпускать напрокат для вечеров, балов и похорон. И домик купить где потише, кур развести для удовольствия... Очень я люблю хозяйство! И Луше-то очень хотелось... И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже и не глядят на лицо, а в промежутки стола и ног. У нас даже специалист один был, коннозаводчик, так на спор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова чтобы... И как что не так – без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблучки. Игнатий Елисеич так и объяснил:

– Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стука. Это для гостей особенно приятно и музыке не мешает.

А потом заметил у меня пятно на фраке и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гость один объясняли, как им штекс по-английски сготовить, и ложечкой по невниманию ткнули. Гости обижаться могут!

Чего ж тут обижаться! Что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? А что такое пятно? Вон у маклера Лисичкина и на брюках, и на манишке... А у господина Кашеротова, если взглядеться, так везде и даже тут... Обижаются... А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, податной инспектор, сигаркой брюку прожгли? А образованный человек – и учитель гимназии, и даже в газетах пишут – господин... такая тяжелая фамилия... так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в пиру с товарищами задрызгали, и когда я их под ручки в ватер выводил, то потеряли из рукавного манжета ломтик осетрины провансаль, и как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование! А как Татьянин день... уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам... Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения! Значит, где же правда? И, значит, нет ее в обиходе? К этому я ужасно в последнее время склоняюсь.

И почему Колюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить! Утешение большое... Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой! И имя ему Лев! Имя-то какое – Лев! Дай Бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мог по тесноте времени и Колюшка предлагал. Очень замечательные сочинения! Вот если бы он зашел к нам да сам посмотрел! И я бы ему многое рассказал и обратил внимание. Ведь у нас не трактир, а для образованных людей... А если с умом вникнуть, так у нас вся жизнь проходит в глазах, жизнь очень разнообразная. Иной раз со всеми потрохами разворачивается человек, и видно, что у него там за потроха, под крахмальными сорочками... Сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков... И какой пример!

И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах такое дело происходило. И кто ж это? Очень образованный человек и кончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно – практическая академия. Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. И ведь сын благородных родителей и по званию коммерции советник, Иван Николаевич Карасев. Неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки!..

Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить! Но все это я ставлю не так ужасно, как насмешение над душой, которая есть зеркало существа.

Этот господин Карасев бывает у нас часто, и за их богатство им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штросс иногда едят с ними и рекомендуют собственноручно кушанья и напитки, и готовит порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана при вознаграждении в восемь тысяч; он и по винам у нас дегустатор, и может узнать вино даже сквозь стекло. И берет даже с поваров за места! Очень жадный. А Игнатий Елисеич с Карасева глаз не спускает и меня к ним за мою службу и понимание приставляет служить, а сам у меня выхватывает блюда и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов.

Приезжают господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой, и еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажей. И тогда дают знать Штроссу, а метрдотель выбегает для встречи на вторую площадку.

Пожалуй, они самый богатый из всех гостей, потому что папаша их скончался и отказал десять миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них, Игнатий Елисеич высчитал, капитал прибывает на пять рублей. А если они у нас три часа посидят, вот и тысяча! Прямо необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой, ценою будто в десять тысяч, от французского императора из-за границы куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех, и булавка в галстук с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивы, черноусенькие, но рост небольшой, хоть и на каблуках. И потом, голова очень велика. Но только они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое и томительное ввиду такой жизни. И, слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице.

К нам они ездили из-за дамского оркестра, замечательного на всю Россию, под управлением господина Капулады из Вены.

Наш оркестр очень известный, потому что это не простой оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора. Только скромные и деликатные и образованные барышни, даже многие окончили музыкальную консерваторию, и все очень красивы и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не позволят допустить и гордо себя держат. Конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержании у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще барышни строгие, и это-то и привлекает взгляд. Тут-то и бьются некоторые – одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть.

И вот поступила к нам в оркестр прямо красавица, то-оненькая и легкая, как девочка. С лица бледная и брюнетка. И руки у ней, даже удивительно, – как у дити. Смотреть со стороны одно удовольствие. И, должно быть, нерусская: фамилия у ней Гуттелет. А глаза необыкновенно большие и так печально смотрят.

Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах: и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, содержания, и иностранных, и такой высшей марки, как Кавальери, признанная по всему свету, и ее портрет даже у нас в золотой гостиной висит – от художника из Парижа, семь тысяч заплачено. Когда она раз была у нас и ужинала в золотом салоне с высокими лицами, я ей прислуживал в лучшем комплекте и видел совсем рядом... Так вот она, а так я... Но только, скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки, и в глаза пущена жидкость для блеска глаз, я это знаю... но барышня Гуттелет выше ее будет по облику. У Кавальери тоже глаза выдающие, но только в них подозрительность и расчет, а у той такие глаза, что даже лицо освещается. Как звезды.

И как она к нам поступила – неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить.

И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать и столик себе облюбовали с краю оркестра, а раньше все если не в кабинете, то против главных зеркал сиделись. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно, куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью. Особенно при таком госте... И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены на электрическую люстру, в игру хрусталей. Ну прямо – небожительница и никакого внимания на господина Карасева не обращает. А тот не может этого допустить, потягивает шлосганисберг пятьдесят шесть с половиной – семьдесят пять рублей бутылочка! – и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит.

И вот сидели они тогда, и при них для развлечения директор Штросс, а я в сторонке наheckу стою. Вот Карасев и говорит:

– Не понимаю! – резко так. – И в Париже и в Лондоне. И я удивлен, что...

Очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем, и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный и скрипучий, так что все слышно.

– Глубокоуважаемый... У нас не было еще... но как угодно... для музыки...

И сигару засосал. А Карасев так ему горячо:

– Вот! Это у меня правило, и я желаю оценить... И я всегда...

А Штросс не отступает от своего.

– У вас, – говорит, – тонкий вкус, но я не ручаюсь...

И что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине. Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожали и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне:

– Сейчас же к Дюферлю, чтоб букет из белых роз и в середку черную гвоздику! И чтобы Любочка собрала! Она мой вкус знает. Живей!

Вижу, какое дело начинается. А-а, плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с Кривым уладим, дам ему трешник за пиджак... А как вспомнил про его слова – хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается.

Подкатил к магазину, а там уж запираются. Но как показал карточку – отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень встормошил...

– Сейчас, сейчас... Где нож? Проволочки скорей!..

Мальчишку пихнул, схватил кривой нож и прямо в кусты.

Сказал я ему, что барышне Любочке приказали делать, а он и не вылезает. Тогда я уж громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует:

– Скажите, что она... Ее сейчас нет, но скажите, что она... Я по их сделаю, уж я знаю... Для молодой девицы букет или как?

И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я – для кого.

– А-а... в ресторане? Хорошо.

И вдруг красную розу – чик!

– Из белых наказали, – говорю. – И гвоздику черную в середку.

– Да уж знаю! – И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. – Будет с гвоздикой.

И посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочки навертели, распушили, а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый. А черная гвоздика,

как глаз, из середики глядит. Лентами с серебром перехватил – и в бант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит:

– Наденька, выбери на вкус... Ньюточка!..

Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает, а другая не желает.

– Им, – говорит, – Фрина лучше... Я его знаю вкус.

А немец и разговаривать не стал.

– Змею – это артистке, а тут Фрина лучше, раз в ресторане...

И вытащили из шкафчика. Почему Фрина – неизвестно, а просто женская фигурка вершков восьми, руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами spraysнул и в станок, в картон поместил.

– Осторожней, пожалуйста... И скажите, что Любочка. Но помните...

Сам даже дверь отворил.

Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал.

– Вот так штучка! – И пальцем пощекотал.

Очень все удивились и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему:

– Дайте на стол! – даже строго сказал и платочком обтерся.

Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все:

– Вот мой вкус! Очень великолепно?

– Очень, – говорит, – хорошо, но она как взглянет... Она от нас в театр собирается...

– Пустяки... – И пальцами пощекотали.

А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случилось этого у нас раньше. Ну в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капулады и не глядит. Водит палочкой, как со сна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гуттелет такая бледная и усталая смычком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела.

Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком:

– Вот что... гм...

Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим.

– Это, – говорит, – давно этот оркестр играет? – И глаза отвел.

А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, – все больше обходом начинают.

– Так точно, – говорю. – Третий год...

Как не знает... И раньше бывал у нас. Знает, отлично знает.

– А-а-а... – А потом вдруг и перевел: – Кто эта, справа там от середики, худенькая, черненькая?

Вот ты теперь, думаю, верно спросил.

– Нам неизвестно... Недавно поступили...

А тут оркестр зачастил – к концу, значит. Карасев и дал знать метрдотелю:

– Подайте мамзель Гуттелет!

Игнатий Елисеич поднял букет кверху и опять его на руку отставил и так держит, что отовсюду стало видать, и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли.

А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капулады палочкой постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капулады все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо, и кончилось.

Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались и хлястик показался от брюк – очень пузастый он, – и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свеклы. И даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось:

– Вам-с... букет вам-с от Ивана Николаевича Карасева!..

Но только это сразу кончилось. Капулады увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить.

Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос:

– Это карасевская, что ли, новенькая, хе-хе?.. Ничего товарец...

Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там – другое дело, а тут ее и не слышать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть!

Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили, а у меня дома такое тревожное положение началось. С Кривого-то и началось... И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе – как кошки... Посмотришь на окна и думаешь: а что-то дома? Ноет и ноет сердце. И все кругом – как какая насмешка. И огни горят, и музыка, и блеск... А посмотришь в окно – темно-темно там и холодно. Рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе, во флигельке – вонючий флигелек и старый, – Луша халаты шьет на машинке для больницы... И думается: а что завтра-то?

А господин Карасев с директором свое:

– Она, конечно, слышала обо мне? Я ей могу место устроить в хорошем театре... И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать...

А Штросс ему наперекор, хоть и вежливо:

– У нас от них подписка отбирается... и у нас аристократический тон и семейный... Вы уж простите, глубокоуважаемый...

А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им:

– Я не по-ни-маю... я не с какой стороны... а из музыки...

И директор им объясняет:

– Будьте спокойны, я поста-ра-юсь, но...

А офицер вдруг поднялся и – к Капулады. Как раз и играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то... И барышням поклонился и про ноты. В руки взял и головой так, как удивлен. Капулады прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись, а барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет и плечами пожимает. Пожимал-пожимал, на подставку облокотился и саблей-то букет и зацепи! И упала Фрина на бок. Но сейчас поднял и к барышне Гуттелет с извинением и все оглядывается, куда поставить. И спрашивает ее. А она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем.

– Унесите. Мамзель просит убрать!

Куда убрать? Я было замялся, а он мне строго так:

– Несите! Что вы стоите? Мамзель просит убрать!

А тут метрдотель налетел и срыву мне:

– В уборную снести!

И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное.

– Я, – говорит, – сам умею... Могу слышать каждую ноту... Это даже удивительно, как... Дамская игра, – говорит, – много лучше...

А с Капулады по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает:

– Та-та... сноток... приятно шюство... та-та... Еще буду играть.

Проснулся совсем, палочку взял и очень тонкую музыку начал.

А господина Карасева взяло, вот он и говорит Штрессу:

– Это кто такой, лисья физиономия?

– А это князь Шуханский, гусар...

– А-а... прогорелый!.. – И перстнями заиграл.

А потом так радостно:

– У меня план пришел!.. Всему оркестру ужин?.. Ну, это-то возможно или как?.. Я член из консерватории... Вы скажите...

А Штресс уж не мог тут ничего и говорит:

– Конечно, они всегда получают у нас ужин... Ежели согласятся...

– От вас зависит!.. Вашу руку!..

А я-то стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, и на косой пробор, и выглажен. Стою и думаю... А-ах, сколько же вас, таких прохвостов, развелось! Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать... Отцы деньги накапливали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление. И все ниспровержено! Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену!

Потом директор Штресс потолковали с Капулады и барышнями и говорит:

– Ничего не имеют против, а напротив...

– Вот видите, какой у меня всегда хороший план! Теперь, прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая...

А тот ему уж в хорошем настроении:

– Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая...

И пошли на совет... Еще бы не хорошая! На сорок персон ужин, со всеми приложениями!

Ну и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланс выводили. Велели такого вина пять бутылок, которое у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде двое номеров и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше ста рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались от дедов не выпитыми и который пролетел в трубу. Более ста лет вино! И крепкое и душистое до чрезвычайности.

Сто двадцать пять рублей бутылка! За такие деньги я два месяца мог бы просуществовать с семейством! Духов два флакона дорогих, по семи рублей, сожгли на жаровне для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одна тарелочка для десерта по двенадцать рублей! Из атласных ящичков вынимали, что бывает не часто. Вот какой ужин для оркестра! Это надо видеть! И такой стол вышел – так это ослепление. Даже когда Кавальери была – не было!

Зернистая икра стояла в пяти серебряных ведерках-вазонах по четыре фунта. Мозгов горячих из костей для тартинок – самое нежное блюдо для дам! У нас одна такая тартинка рубль шесть гривен! Французский белянжевин – груша по пять целковых штука... Такое море всего, такие деликатесы в обстановке! И потом был секрет: в каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазин Филе – получить конфект по коробке.

Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закуского стола хлопочут, как хозяин, и комплименты говорят:

– Мне очень приятно, и я очень расположен... Пожалуйста начерно, чем бог послал...

Все так стеснительно, а Штросс как корабль плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутят. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам:

– Кажется, еще не все в сборе...

А Капулади уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает с крокеточкой, полон рот набил и жует, выпуча глаза.

– А-а-а... Мамзель Гуттелет нэт... голёва у ней... и мамаша прикодиль...

– А-а-а... Пожалуйста... кушайте...

Только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись. И такая у него физиономия стала... И смех и грех! Сервировали ужин! А Капулади чокается и вкладывает. И Штросс чокается, и господин Карасев тоже... чокается и благодарит. И лицо у них... физиономия-то у них, то есть... необыкновенная! А там-то, в конторе-то... счетик-то... баланс-то уж нанизывает Агафон Митрич, нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примастью, да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу... Да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за...

Вышел я в коридор, смотрю – офицер-то и идут.

– Что это, свадьба здесь? – спрашивает про пир-то в гранатовом салоне.

– Никак нет, – говорю. – Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр ужином потчуют.

Сморщил лоб и пошел.

И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать.

IV

Пришел я из ресторана в четвертом часу. Луша дверь отперла. Всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю ее про Кривого. Оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все казенный дом выходит – значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые-то хлопоты...

– Чует, – говорит, – мое сердце... Вон у Гайкина-то сына заарестовали. Уж не он ли это?.. Еще Гайкин-то тебя все про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю...

И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина, лавочника, сына действительно заарестовали. Совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался, но потом я сам забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть.

Так это мне вдруг – а ведь Кривой это! Утром сам проговорился спяну... А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьяныч

даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна, сваха, рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал, и я дал ему за хлопоты красную, но если насчет людей, то может быть очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пыталась она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет.

– Он, – говорит, – охапку какую-то снес вечером к Васикову... И скажи ты, – говорит, – этому Васикову, чтоб он к нам лучше не ходил. Он все Колюшку сбивает...

Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Саверьяныча, чтоб он принес ему хороших книг, настоящих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил.

Соскочил я босой, отпер. Оказывается, Кривой, и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уж нет, а какая-то кофта, и лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу ему загородил. И он молчит. А потом вдруг тихо так и твердо:

– Вот и я! Ну что же? Могу я войти в свою квартиру?

Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и по тону слышно, что может затеять скандал. И боится как будто. Дрожание у него в голосе. Ну, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора и зачем так оглушительно звониться. А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит:

– Чи-то-сс? – прямо к лицу и винным перегаром. И как шипенье голос у него стал. – Звонки для звона существуют! Заведите английские замки!

И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. А Луша мне покою не дает:

– Болит у меня сердце... Поговори ты с ним по-доброму. Он спяну-то тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну... Томление во мне...

Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать. Луша меня в бок:

– Послушай-ка, Яков Софроныч... Что это он там... урчит что-то... Даже за душу берет, а ты как бесчувственный. Выпроводи ты его, что ли...

Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули, – свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно. Как из нутра у него выскакивает. Постучал я – без последствий. А Луша требует: угомони да угомони.

– Может, он при расстройстве что скажет... Поди!

Зажег я свечку и прошел к нему. Вижу – лежит Кривой на кровати одевшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает.

– Прохор Андрияныч... – спрашиваю. – Что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим... Так непозволительно себя ведете и еще по ночам спать не даете...

Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд.

– Ничего, ничего... У меня тут... – и показал на грудь.

Первый раз услышал я настоящий его голос. И очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала и сынок у него на пятом году помер. Это он Черепяхину открыл. И сказал я ему тогда по душам:

– Вы лучше объяснитесь начистоту. За пиджак я вам заплачу хоть три рубля... Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились... Будете вы нам зло делать, вы скажите? Вы сами объявили, что сообщите, и перевернули наш семейный разговор... и мы вас опасались, это

правда... Скажите все, и мы разойдемся по-мирному... Что же делать, раз ваша такая специальность... Но не губите людей!

А он привстал и головой так:

– Так, так... Вы очень добрый человек... Продолжайте...

– Вы, – говорю, – не думайте, что мы бесчувственные какие... Только скажите от сердца и не доводите до неприятности... А вот даже как: я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали...

Сказал, чтобы его в чувство ввести и открыть его планы. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит:

– Чи-то-сс? Пир-рожка-а? Это вы что же, на смех? На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец, Кривой... Вы меня все Кривым!.. а мы тебе пирожка?.. А? Вам за пирожок надо покою ночного? Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы два пирога пекли и не предложили!.. Из-за вас меня Гайкин из лавки попросил!.. Я вам прощаю!

И так рукой торжественно и сел на кровать. Слышу вдруг – топ-топ. Колюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо:

– Что это вы его, с квартиры гоните?

– Ничего я не гоню! – говорю. – А вот опять... не в себе...

А тот действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к Кривому, и голос у него дрожит:

– Оставьте, пожалуйста... Что за пустяки и как вам не стыдно!..

Тогда Кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически:

– Можете гнать! Меня сегодня из участка выгнали, теперь вы!.. Конец!

– Как, – говорю, – выгнали? за что?

Ничего не пойму. А он срыву так:

– Гоните в шею! Сейчас прямо на улицу, в темноту! Вы только погоните – и я в момент! Не беспокойтесь...

И не вовсе пьян, а так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит, подштанники вытащил и в простынку увязывает, книжку из-под матраса трепаную достал, графа Монте-Криста. И увязал в узелок.

– Думаете, места не найду? Я и без места могу... Все равно...

Шебаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал.

– Можете себе присвоить! Не надо мне ничего... За квартиру получите из имения... Я рассчитываюсь... До свиданья!

Пошел было, но я его за руку – стой!

– С ума, – говорю, – не сходите и скандалу не делайте... Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?..

Посмотрел он на окно и назад повернул, на кровать сел. Тощий он был и взъерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он тридцать копеек занимал и вечером обещал принести и не принес. Очень упрямый и сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. И насилу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. А это он раньше в резиновом-то был, а потом, после расстройства, запил и в писаря пошел.

И спать-то мне хочется, а он сидит и томит. Вот я и говорю:

– Не принимайте к сердцу... Прогнали – другое место найдете... Мало ли местов!..

А он мне гордо так:

– Во-первых, меня не прогнали! Я сам пристаю в морду плюнул! У меня тетка в имении, у ней сто тысяч в банке!.. Чи-то-sss! Извините-с... Я не какой-нибудь обормот!

– Ну и хорошо, и не напускайте на себя...

– Ну это не ваше дело! Выговоры мне! А может, я наврал? Чи-то-ссс?! И не знаете, гнать меня или нет. Вот молодой человек мне пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера?! Чи-то-ссс?!

Вижу, что спятил – и ломается. А Колюшка стоит бледный, и губы у него трясутся.

– Ничего-с... я шучу – и все наврал. Никогда я сыщиком не был! Не был я сы-щи-ком! Чи-то-ссс? Запомните это! Хорошенько запомните!! А-а... стереглись! Гайкину напели! Он бы мне дело в компании открыл – шинами торговать... Лезет человек в мурью, а вы его так вот, так... кулаком в морду?! Натте вот, плюньте мне в морду, нате!.. Молодой человек! Плюньте!.. Вы про политику можете говорить... понимаете все... плюньте!.. Вашего парикмахера склизкого позовите... плю-уй-те!..

Реветь начал и все тянет у-у-у... Колюшка его трясти стал за плечо.

– Что вы говорите? Неправда!.. Мы не такие!..

А тут Луша из-за двери выглядывает. Увидел он ее и поднялся.

– А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь... Я вам тридцать копеек завтра... вот с гитары... я еще не все пропил... успокойтесь...

И вдруг Черепяхин и входит в одном белье.

– Простите за костюм... Да ты угомонишься? Как вошь в пироге! Наталью Яковлевну и всех будишь! Черт ты после этого!

Но я его остановил и говорю, что человек до умопомешательства дошел. А он очень горячий и всегда за нас.

– Знаю, какое у него помешательство! Ему бы теперь ассаже на двугривенный! Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь...

А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся:

– Все супротив меня! Ну, так знайте! Я всем присчитал: и приставу, подлецу, и дорогой супруге, и всем!.. И всем вам язык покажу! Будьте покойны! Итоги подведены. Простите меня, молодой человек! А тридцать копеек и за квартиру за двенадцать дней получите... Вот с гитары...

И подает Луше гитару. А она замахала руками и не берет.

– Я предложил... как знаете... Ну-с, прощайте, до радостного утра!

Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепяхин ему:

– Пошел ты! Ломается, как обезьяна... Это в тебе даже и неискренне, а так, одна трагедия глупая...

– Ну, как угодно... Как угодно...

И вдруг свечку у меня и потушил.

– Занавес, – говорит, – опущен!

Такой странный оказался человек. Напустил-напустил на себя... Легли мы, а на душе муть.

Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель – Кривой лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил, а подштанники и графа Монте-Криста под кровать сунул. Остановился середь комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да накрепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист с железной дороги жил, граммофон камаринского играет. А там именины были. А Кривой все в окно глядит, в темень... Так я и заснул.

А наутро, только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел, – неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых, Емельян Иваныч Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам пять рублей!

– Почему такой, надбавка? Прошлый год надбавляли...

– По плану. Обязательно велено... Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня...

– Это ваш произвол, – говорю. – Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже...

А он мне и говорит:

– Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают... Хотите – платите, не хотите – как хотите...

Вот как! Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками! Да-а... Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят... Музыкальные вечера у них и ужины... И в попечительствах пекутся... барышни Пупаевы, дай им Бог здоровья... Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают и салфеточки вышивают... И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела! Нежны они очень и тонки, им, конечно, не хватает... Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то! От этого оборот! Оборот капиталов! Что тебе за прически и локоны по сто рублей с головы платят! Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие... Ну так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается! Знаю я, какой это оборот! На собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им Бог здоровья! Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют...

А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило...

V

Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал и дверь запер на крючок. И Луша-то сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать – гнать его или оставить. Что с него возьмешь, как он без места! И тетка-то его с ветру. И раньше, бывало, все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек! И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови и содержанкой жила у губернатора и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепяхину все изливал: «Мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой степени опустил. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего, подлеца, так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне тысячу рублей пришлет – велосипедными шинами торговать буду!»

Такие вокруг себя сети распространил, думает – и не узнают, а просто стыдно ему было при его положении. Вот и врал.

Пришел я в ресторан, а в официантской наши очень горячо рассуждают. А это Икоркин. Маленький такой и черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали на смех – очень любил, как поступил, икорку с ложечек и тарелок слизывать. Оказывается, общество устраивается для всех официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались, по полтиннику в рассрочку. Но только нас метрдотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне:

– Бери букет, который барышня забыла, вези на квартиру! Карасев записку прислал, велел.

Поставили в картонку, пошел я по адресу. И не спросил, нужен ли какой ответ, дорогой уж вспомнил. Пришел, на третий этаж поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышне от господина Карасева из ресторана. Плечами пожала и зовет:

– Аля, что такое? Букет тебе!..

Вышла та, тоненькая такая, в фартучке, прямо как девочка. Вырвала у барыни картонку, и ушли они. Слышу, разговор у них горячий по-французски. И та кричит и другая... А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла черненькая и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчик еще спросил меня, кто я такой, а потом и говорит:

– Там наша Аля работает, где обедают...

А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбегла ко мне и так гордо:

– Можете идти, не будет ответа!..

Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделала. Мальчишку дернула за руку, так и отскочил, и за мной дверь – хлоп! Как вылетел я все равно! Плюнул даже. Провались они все, а я еще ее пожалел.

И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на двести персон – сын губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина, по двадцать рублей с персоны без вина! А в угловой гостиной юбилей делали директору гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей – что! Чиновники!.. Только разговоры, и еще рассматривают – двугривенный или пятиалтынный...

Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик!

Вот поди ты, что значит капитал! Прямо даже непонятно. Мальчишкой служил у пакетчика, а теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем. И ничего не боится. Ставит и ставит по семь да по восемь этажей. Так его господин Глотанов и называет – Домострой! А настоящая его фамилия – Семин, Михайла Лукич! Выстроит этажей в семь на сто квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов шесть воздвиг. И совсем необразованный, а вострый. И насмешил же он меня!

По случаю какого торжества – неизвестно, а привез с собой в ресторан супругу. И в первый раз привез, а сам года три ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил и слышу, она говорит:

– Чтой-то как мне не ндравится на людях есть... Чисто в театре...

А он ей резко:

– Дура! Сиди важней... Тут только капиталисты, а не шваль...

Она ежится, а он ей:

– Сиди важней! Дура!

А она свое:

– Ни в жисть больше не поеду! Все смотрят...

А он ее – душой! Умора!

– А мне так, – говорит, – наплевать на всех, что смотрят!

Даже не так сказал, а по-уличному.

– На всех, – говорит, – мне... Я привык к свету...

Нехорошо сказал. Я-то, я-то понимаю даже их необразование. И манит меня:

– Человек! Дай мне чего полегше... – Прищурился на нее и говорит: – Дай мне... соль!

А она так глаза выпучила – не понимает, конечно. А он-то и доволен, что дуру нашел. А сам недавно за артишоки бранился.

– Я, – говорит, – думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь!

Вона! И как принес я им камбалу, он и говорит супруге:

– Вот тебе соль, ешь – не бойся... Это рыба, в море на сто верст в глубине живет!

Умора, ей-богу. И сам-то не ест и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилок и говорит:

– Чтой-то как она и на рыбу не похожа... А не вредная?

Да как распробовала в пару-то, аромат от нее, и назад:

– Да она тухлая совсем... Михаила Лукич!

Не понимает, что такой от нее запах постоянный. Тухлая! Уж и смеялся он, вот как показывался!

– Эту рыбу-то только француженки употребляют... ду-ура!..

А она чуть не плачет, красная, как свекла, стала и в прыщах.

– Мне бы, – говорит, – лучше белуги бы...

А он-то ей:

– Не страми ты меня перед лакеями, ешь! Тут за порцию три с полтиной!..

И ни малейшего стыда! А она ест и давится. И случилось нехорошо – в салфетку даже.

А он ей угрожает:

– Дура! Никогда больше не возьму. Необразованная!..

Сейчас подозвал меня и так важно:

– Дай ей... ар-ти-шоков!

Вот! Это уж на смех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то, сам-то! Как-то привез в кабинет девочку лет пятнадцати, так... портнишечку, и напоил. Самому лет пятьдесят, а она девчонка совсем. И ту-то, ту-то тоже кормил по-необыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, миног... Нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку!..

Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже... И никто не скажет... И ничего! Хамы, хамы и холуи! Вот кто холуи и хамы! Не туда пальцами тычут!.. Грубо и неделикатно в нашей среде, но из нас не отважатся на такие поступки... И пьянство, и жен быют – верно, но, чтобы доходить до поступков, как доходят, чтобы догола раздевать да на четвереньках по коврам чтобы прыгали, – это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разное... Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое... Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все и испаряется, как после куража. Вон теперь полным-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет как раньше... Эх, Колюшка! Твоя правда! Теперь и сам вижу, что такое благородство жизни... И где она, правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды... который торговал теплым товаром... А эти... кушают, и пьют, и разговаривают под музыку... Других не видал.

И смеялась девочка-то, портнишечка-то, смеялась... как коньяком ее повеселили... И потом, потом туда... У нас такой проход есть... плюшем закрытый проход... Чистый, ковровый и неслышный проход есть. И потом в этот проход прошли...

В номера проход этот ведет, в особые секретные номера с разрешения начальства. И само начальство ходит этим проходом. Тысячи ходят этим проходом, образованные и старцы с сиднями и портфелями, и разных водят и с того, и с этого хода. На свиданья... И был там у нас – и сейчас есть – Карп, аховый насчет делов этих. Как порасскажет, что за этими проходами творится! Жены из благородных семейств являются под секретом для подработки средств и свои карточки фотографические под высокую цену в альбом отдают. И альбомы эти с большим секретом в руки даются только людям особенным и капитальным. Там стены плюшем обиты, и мягко вокруг, и ковры... и голос пропадает в тишине, как под землей. И уж с другого конца выходят гости с портфелями, и лица сурьезные, как по делам... А девицы и дамы через другие проходы. И все это знают и притворяются, чтобы было честно и благородно! Теперь ничему не верю, хоть ты мне в лепешку расшибись в приятном разговоре. Тысячи в год проживают, все прошли, все опробовали – и еще говорят, что за правду могут стоять! Один пустой разговор.

И вот проходы... И сам Карп чуть однажды не полетел, а очень испробованный и крепкий человек. Криком одна кричала и билась, так постучал он в дверь. И такой вышел скандал за беспокойство, что чуть было наш ресторан со всеми проходами не полетел!

И вот как подавал я им артишоки, замутило- замутило меня, дрожание такое в груди. Неприятность, конечно, дома, а еще у меня сердце нехорошее, жметя и бьется: капли ландышевые пью. И так мне подкатило, хоть тут в зале ложись, терпения нет. Пакетчик меня пальцем манит, а я идти не могу. И вдруг товарищ подходит и говорит:

– Скорей, жена тебя спрашивает что-то...

Перемогся я, подошел к столу.

– Нарзану мне дай, а ей солянки...

Побежал я в официантскую, а Луша сидит в платочке, бле-едная...

– Скорей, скорей! Кривой повесился!.. Околоточный послал...

Не понял я сперва, только испугался. А она чуть не плачет:

– Скорей, скорей! Полна квартира народу... никого нет...

Стал одеваться, пальто никак не вздену. А та-то мне:

– Скорей, скорей... запутает он нас... околоточный сказал...

Прибежал я на квартиру. Народ со двора в окна лезет, а в квартире полиция. Вошел я в его комнату, а уж он на полу лежит, как был в рваной кофте... На ремешке он задавился от брюк. На спине лежит, руки так свело и в кулаки, как грозится. А на лицо как взглянул... страшный-страшный. Языком дразнится. Один глаз сощурен, а другой выперло, смотрит. Еще ночью так все рожи корчил.

Околоточный наш, Александр Иваныч, у окошечка сидит, курит, в руке записку держит, и строгий. И околоточный-то знакомый: ему по дешевке вино иной раз доставлял, после балов которое... Нам метрдотель с уступкой продавал.

– Ждать тебя мне тут? Что это у вас за безобразие?!

И пальцем в Кривого и морщится. Точно я сам его удавил.

– Что знаешь, какие причины? Нет ли чаю стакана...

И всегда обходительный был, а тут даже про чай строго. А я совсем расстроился, ничего не понимаю.

– Неприятность тебе будет... – И запиской по ладошке хлопнул. – Сын где? Его я должен спросить... Чернил!

Сейчас ему чернил и чаю подали, ждем...

– Прикройте его чем... Связался с дрянью, вот и... Голову закройте!

Даже и его взяло. А Черепяхин тут как тут.

– Почему вы так выражаете про мертвое тело? Занесите в протокол!

– А ты, – говорит, – кто такой? Вон отсюда! Тут допрос. Кто он такой?

А тот очень горячий и сейчас зуб за зуб:

– Почему мне «ты» говорите? Я совместный квартирант и хочу показание дать о причинах. Я все знаю.

И начал так развязно, смешком:

– Вот как было. Утречком так, часов в десять, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Но околоточный ему сейчас:

– Вон! Сам вызову! Очистить комнату!

Всю публику выгнал из квартиры. Остались дворник да пачпортист наш, а Черепяхину арестом пригрозил за противодействие. Насилу я его увел.

– Ну-с, теперь по пунктам...

И читает записку, что вот с квартиры его гнали...

– Так. Вы гнали его, значит, с квартиры... Гнал?

Объяснил все и про ночь рассказал. Записал – и дальше:

– Это не важно, а вот...

Вслух прочитал все письмо. Оказывается, он на всех доносы написал и про нас и теперь боится суда. И очень обижен на всю жизнь. И про стакан помянул, и про разговоры. Прочитал околоточный и сморщился.

– Вот какая канитель! Должен дознание вести, тут про политику... Какие слова твой сын про политику говорил? Лучше чистосердечно... все равно записка в производство пойдет... Вот такая канитель!..

Отрекся я, и Луша тоже, а Черепахин из-за двери кричит:

– Знаю, меня извольте допросить!

Так я даже удивился на него. Так был расположен – и вдруг. А околоточный обрадовался.

– Позвать его! Что про политику? Твое показание по пункту!

А тот, вижу, хитрое лицо сделал и начал:

– Не твое, а ваше! Про политику – нуль, а вот как было: утречком, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Прямо на смех. Уж потом сам мне говорил: чтобы обозлить. Сейчас его околоточный выгнал и пригрозил. А я на Кирилла Саверьяныча сослался: уважаемый человек и знакомый околоточному. Сейчас за ним погнажи: неподалечку, через улицу жил.

Пришел очень сильно испуганный, с околоточным за руку и по отчеству и очень умно стал объяснять:

– Разве вы меня не знаете? Разве, – говорит, – я могу в моем присутствии позволить насчет чего?... Я привержен к администрации, и мне даже обидно с вашей стороны такое недо-разумение...

А околоточный в записку:

– Что же делать, раз я по обязанности долга... Я очень хорошо знаю...

А Кирилл Саверьяныч посмотрел на Кривого и говорит:

– Даже после смерти напакостил! И все из пиджака!

А околоточный сейчас в протокол:

– Из какого пиджака? Объяснитесь.

Кирилл Саверьяныч бородку оттянул и сделал лицо очень умное и даже как обиделся.

– А вот как. Сидели мы за пирогом и рассуждали... про жизнь. И Кривой слушал у двери. И тогда молодой человек, их сын – ученик реального училища, стал укорять его, вот этого самого Кривого, зачем он так исполняет свои обязанности, то есть пьянствует, и сказал, что это так не годится... и вообще... нельзя так в политике жизни... Вот она и есть политика... политика жизни... обиход... Так сказать, если выразить по-ученому...

– Верно! – подтвердил и околоточный. – Это понятно.

– Вот. Необразованный человек не поймет, конечно, а образованный... это понятно... И я ему, этому самому Кривому, стал объяснять даже из Евангелия... насчет властей и про жизнь... А он вдруг обозвал всех нас холуями... – это вы обязательно запишите! – и тогда молодой человек, а их сын, действительно бросил на пол стакан в его направлении и попал в пиджак и забрызгал... Вот он обиделся и сказал, что донесет на всех, и побежал в участок. Это сушая правда.

Так складно у него вышло. Ну, конечно, что тому, раз он мертвый? А то бы канитель. Время очень строгое было. И околоточный подтвердил.

– Был он там, верно, и наскандалил. Мы его совсем прогнажи. Но это не относится...

И зачеркал в протокол. А Кирилл Саверьяныч в окошечко смотрит. И вдруг с чего-то обиделся и опять:

– Не понимаю, при чем тут я... От работы отрывают...

А околоточный ему:

– Нам пуще эти канители надоели, но закон такой. – И мне запрос: – Какой донос он на вашего сына послал и куда? Тут в записке есть...

И показал перышком на Кривого.

– Да какой же донос, раз он пьяный был! – говорю.

– Мало ли что! Пьяные-то и проговариваются. О чем донос?

Да что я, святой дух, что ли? Такой придира!

А тут Колюшка и входит из училища. Как узнал все, так и окаменел.

А околоточный сейчас его на допрос:

– Объясните показание! Вот что он в письме пишет...

Прочитал ему. Колюшка смотрит на него и как ничего не понимает.

– Ну-с, – говорит. – Какой донос он послал и куда?

А Колюшка стоит помертвелый и шепотом так:

– Мы его, мы... Господи!

И за голову схватился. А околоточный – чирк в протокол.

– Что это значит? – спрашивает. – Тут у вас путаница... Как же это вы? Что – вы?..

Кирилл Саверьяныч тут осерчал.

– Что же, подозреваете, что они его удавили? Он нравственно думает... от обиды... Он же сам в письме пишет!.. Может быть, и меня вы в чем подозреваете?

– Не подозреваю вас, – говорит, – а все-таки странно. Как же это вы... Вы скажите чисто-сердечно...

А мой-то взглянул на Кривого, сморщился и убежал из комнаты. А околоточный мне строго:

– Вернуть его! Я именем... требую. Позвать!

Побежал я за Колюшкой. А он уткнулся головой в окно, так в шинели и стоит. Обернулся да как зыкнет:

– Уйдите! Не могу я, не могу!

Я его и так и сяк – нет!

– Вот, – говорит, – что мы сделали! И это я, я...

Прихожу в комнату к ним, а околоточный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Саверьянычем. И лицо у него ничего, не строгое. А Кирилл Саверьяныч сделал такую злую физиономию и вдруг на меня:

– Не понимаю вашего сына! – на «вы» стал. – И Александр Иванович удивляется... Как он у вас неразвит и глуп!

А околоточный ничего.

– Он, должно быть, протокола испугался... Ну, как-нибудь покончим... – Дал подписать и щелкнул портфель. – Доносы меня беспокоят... Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления... самоубийства... Мм-да-а...

А Кирилл Саверьяныч меня ногой. А околоточный в окно смотрит и думает.

– Ну-с, мы его сейчас заберем... Погода-то какая! Опять грязь...

А Кирилл Саверьяныч опять меня ногой.

Велел околоточный брать Кривого и в карету помощи. Понесли его и гитару забрали и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил околоточного в сени и попросил, чтобы вообще... не было какой канители... И он любезно мне:

– Ничего, теперь, кажется, все ясно... Кляузник такой был... Отлично его знаю.

Вернулся я в квартиру, а Кирилл Саверьяныч как накинется на меня:

– Вот как вы цените отношение! И меня запутали! Я из-за вас теперь в протокол попал? Запутали вы меня! Из-за всякого мальчишки... Он у вас на язык невожат, а я тут по чужому делу! У меня и так расходов много... Нет, мне надо быть подальше... Я теперь вижу... как к людям снисходить...

А тут Колюшка и влетел:

– Пожалуйста! Можете уходить... Вон!

– Как вон? Ты... смеешь? Он при тебе смеет? меня? Это он мне-то! Щенок! дрянь эдакая, шваль, молокосос! Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого! Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил!

Я совсем растерялся, а Колюшка одно и одно:

– Вон! вон! Папаша в вас не нуждается, в вашем снисхождении!

А у того глаза заюлили, не знает, что сказать. Даже позеленел.

– Твое, – говорит, – мерзавец, счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть! И я сам, сам ухожу... сам! Ноги моей не будет! – Потом скосил на меня глаза и кипит: – Только у таких и могут быть такие... хулиганы!

Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал. Схватился, но я его за руку удержал. Потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как обернулось. Такая неприятность, и даже Кирилл Саверьяныч, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал...

Пошел я к Луше – на постель прилег от сердца, – она мне:

– Мочи моей нету... засудят Колюшку... Вот какой негодяй оказался... Что он про него написал? Возьмут его, как Гайкина сына...

Дал ей капель и пошел к Колюшке. Дергаю дверь – не отпирает. С крючка сорвал. Сидит над столом и голову на руки положил.

– Чего ты бесишься? – говорю. – И человека вооружил... Ведь он со злобы на тебя донести может, про твои слова! Донос на тебя есть уж... Ведь к нам полиция может каждую минуту... Может, у тебя какие книги есть от Гайкина...

А он на меня, вместо того чтобы успокоить:

– Вы-то хороши! Он при вас на мертвого врал, а вы... Мамаша мне сказала... И оставьте меня в покое!

И по виску себя кулаком.

– Неужели это из-за меня он? Господи! Папаша!

Даже мне обидно стало, по правде сказать. Посторонние интересы, что Кривой повесился, он к сердцу принимает, а что нам будет – без внимания. И говорю ему:

– Чужой тебе приболел, а мы для тебя что? плюнуть да растереть. Вот ты как! Я же о тебе забочусь... Ответь ты мне, есть у тебя какие книги?

А он мне:

– Уйдите вы прочь! – кулак сжал и в подушку ткнулся.

– Да пощади ты, – говорю, – хоть отца! Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал... Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттябель выйдет! – стал ему рацеи читать. – Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом... в квартире человек удавился, нам неприятность... С человеком меня поссорил! А он сколько раз меня поддержал... Протекцию тебе оказал, как в училище поступать... через знакомство с учителем...

А он ногой – раз! – о кровать.

– Так ты так! – говорю. – Ну теперь я все вижу! Это твой Василов долгоногий тебя с пути сбил! Как стал к тебе приходиться с книжками, так ты другой стал... Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было! Ответишь ты мне? – кричу. – Всех выгоню! И Пахомова не пущу! Его, подлеца, выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит? Ты его, дармоеда, кормишь!

Пронял его. Встал он, посмотрел так на меня и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение... Так он до места к Колюшке ходил, очень бедный... Вот Колюшка мне и говорит:

– И вам не стыдно? – Правду, конечно, он сказал. – Не стыдно вам?! Куска пожалели! Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали... Будьте покойны, не придет... Но только знайте... я и сам освобожу от расходов... Может быть, и для меня жалко?

И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает, заплаточка на локте... и поясок перекосялся. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись, голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем.

– Да, – говорит, – вы там, в вашем ресторане, с господами очерствели...

Потом вдруг и вынимает из пазухи конверт.

– Вот вам от директора письмо.

Так все во мне и оборвалось.

– Какое письмо? зачем?

– Прочитайте... – И отвернулся.

Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг... Отпечатал я письмо, руки у меня – вот что... дрожат, смотрю – бумага с номером, и написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к двенадцати часам сам директор... Для разговора о сыне Николае Скороходове.

Спросил я его, о чем говорить приглашают, а он только плечами пожал.

– Может быть, – говорит, – из-за Мартышки... учитель у нас есть... У меня с ним столкновение вышло...

– Какое столкновение? Что такое?

– Он меня негодяем при всем классе обозвал... Я отговаривал на войну деньги собирать, а он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать... А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему, – это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают...

– И ты, – говорю, – так сказал? Колюшка! Что ж ты наделал?!

– Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть и выгонят... Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану.

– Как так? Значит, – говорю, – все мои труды и заботы на ветер?

– Нет. Я вам очень благодарен. Я теперь, по крайней мере, все понимаю. Они требуют, чтобы я извинения просил у Мартышки, но я у него просить не стану!

Поглядел я на образ и сказал в горе:

– Вот тебе Казанская Божия Матерь... при ней говорю, как мне тяжело! Колюшка, – говорю, – попроси извинения!..

– Нет, не могу. Может быть, меня и не выгонят еще... Только полгода всего и учиться-то осталось... И оставим, пожалуйста, этот разговор... Все обойдется...

Так это все скрутилось сразу. А тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет:

– Мне замечание начальница сделала... чуть не оборванкой назвала... Не пойду я в гимназию! Новое платье мне нужно, у меня все заштопано, и швы побелели... И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все...

Шварк книги под кровать – и реветь от злости. Каторга окаянная! Как сказал я ей про Кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало, хоть сам в петлю полезай... Вот какая полоса нашла.

Плюнул я на всех и пошел в ресторан. Хоть на людях забыться! А какое там забыться! Хуже, хуже это чужое веселье раздражает...

VI

Прямо как несчастье какое наслал на нас Кривой.

И такое меня зло разобрало: зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, а Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею... И все-то не по ней, и все претензии: и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестно в гости позвать. Требовать стала, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. Поправлять в разговоре стала даже: «До сих пор, говорит, «куфня» говорите, и «ндравится»...

Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать!

– Чего тебе, глупая, – спрашиваю, – совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай... Я тебе запрещаю?

– Вы ничего не понимаете! Какая у нас обстановка? Диван драный да половики со шваброй?

Пожалуйте! Это дрянь-то! Семнадцать лет всего – и разговаривать! А я знал, знал, чего ей совестно! Матери-то она все высказала. Что я служу в ресторане! Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме! Дура-то! Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. И ведь наврала, в бумаге наврала! Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане! Вот какое зрение у них! Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам – им не будет стыдно! Что же, это ее в училище так обучили?

И насмотрелся я на это опровержение! Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там которая с ним из барынь, вроде замечания... Да вот как-то доктор Самогрузов и скажи супруге:

– Чешешься ты, как кухарка... волосы у тебя в разные стороны...

Так она вся в жар:

– Как тебе не стыдно при лакеях мне!..

Стыдно при лакеях! А не стыдно и похуже и похуже чего, и не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде? Не стыдно, что ногами трутся, как кобели? Ей-богу! Как в компании парочками рассядутся, чтобы попережку, для интереса в разговоре, так после ликеров-то, под столом-то... ногами-то... Из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с, как они там ни разговаривай по-французски и о разных предметах. Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы. Уж лучше бы ругались. По крайности сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет... знают тоже, как подать, чтобы с пылью.

А то вот как голод был... Мы, конечно, всегда сыты при нашем деле, а вот как приехал к поваренку отец и начал он на кухне плакаться, как тут у вас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут, так у нас разговор пошел, и Икоркин всех донял. Так сказал, даже Игнатий Елисеич хвалил:

– Тебе бы, – говорит, – Икоркин, попом быть!

По копейке с номера стали отчислять в день, рубль двадцать копеек.

И Икоркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял.

– Смотрите, послал, а не себе в карман, как другие делают.

И в газетах было. Ну и в залах у нас кружки стояли, и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят, Господи благослови, вот один какой и начнет соболезновать:

вот мы, дескать, тут прохлаждаемся и все, а там дети с голоду умирают. И сейчас какой-нибудь барыньке шляпу в ручку, и она начинает:

– Жертвуйте, господа! Иван Петрович, Петр Иванович! Ну, от своей бедности! Ну-у же...

И ей это большое удовольствие, и кривляется, и так, и тянет, и глазами... Ну и соберут рублей десять, а по счету ресторану рублей сто уплатят.

А то артистка одна к нам со своей компанией ездила, так та себя на распродажу пускала. И очень много смеху у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка – три рубля, к плечу там – пять, а к шейке – красненькая... И так всю исцелуют, что... Один красное пятно ей насосал, штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал. Сидел с ними в кабинете один, очень мрачный из себя, фабрика у него была канительная. Иван Иванович Густов, вот который застрелился от скуки жизни. Так он так-то встал и говорит:

– Дам вам на голодающих вот это! – и вытащил бумажник. – Тут у меня десять тысяч, сейчас из банка взял. Я вам расценок устрою всем. Всем вам в хари плюну – и на голодающих?!

Матушки, что вышло! И бумажником об стол хватил. Ему тут двое карточки суют, с артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом, положил бумажник в карман, да и говорит:

– Плевка жалко!

И пошел. А потом в газетах было, что десять тысяч на голодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю!

И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось, и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна, и тревоги чтобы – ни-ни. Потому как тревога – так все равно как из кармана. А нельзя не идти – две экстренности: свадьба и юбилей. И с маху, не успел и за дело взяться как следует, а тут три дюжины тарелок в угловую понес, да замлело что-то во мне – и врасяжку. По десять целковых дюжина! Второй раз только за всю службу. Первый раз хрустально наколотил на двадцать четыре целковых, баккара, посклизнулся на апельсиновую корочку и сварил. Да вот в этот раз. Сейчас метрдотель. Сварил? Сварил. Заплотишь. У нас это просто – из залога берут.

И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда, счета, марки из отделения в отделение сортируешь, то по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете не так что-то... Все помни, что кто заказал. Первое наше дело – ноги и память. Весь как на струне. А как что неладно вышло, так весь день и пойдет одоление.

Закончились обеды, сервировали в угловой, и уж съезд. Пошли и пошли. А народ все капризный и раздражительный, учителя эти. Редко у нас бывают, та-ак, раз в год по обещанию, зато уж тут с напряжением: дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к закуске, то-се... И пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был – метрдотеля за пояс заткнет, и голос зычный. Того нет, другого нет, метрдотеля сюда, да почему икры только в трех вазах, да почему больше форшмаки да тефтели, да рыбного чтобы больше, да балыка, да лососины, да омаров... Знаю, что в цене! Это по шести-то рублей с персоны, конечно, без вина! Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за шесть-то рублей!

Совсем я закружился. И вот как рок какой! Ну точно вот нарочно! Несу пирожки, смотрю – он! Его превосходительство, Колушкин директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно – куда ни станешь, ото-всюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь – и он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть.

И как стал пирожками с икрой обносить, чуть блюдо держу. И как приказали им на тарелочку положить, я им волованчиков огратен, и крокеточков, и зернистой икры вдоволь наложил – они очень эту закуску обожали – и стал опять следить за ними. И когда они последнюю крокеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково. Очень я

испугался. Вот, думаю, сейчас спросит. А они пожевали-пожевали, проглотили и пальцем мне. Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне на лоб и говорят:

– Дай-ка мне еще икорки... и вот этих еще...

И я им еще крокеточков и икры, как на порцию.

Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли, потому что я года три тому, как к ним в последний раз являлся и прошение о плате подавал.

Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им мозельвейну дал.

А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директора гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. А как речи, тут уж движение прекращается. Стой и слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа и чтобы больше свету. И тосты говорили, и пили за все. И решили телеграмму послать. Это у нас всегда. Поговорят-поговорят – и сейчас кому-нибудь телеграмму.

А у меня так сердце и мозжит, и так захлаждает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сени, снежку приложишь под манишку к сердцу – и отпустит. А небо все-то звездами усеяно... И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас – ад. А тут, на кухне, скандал еще. Повар Семен опять бунтовать пришел. Его за пьянство прогнали, так он на моих глазах с ножом кинулся на старшего и рассек ему котлетным ножом руку, и сам зарезаться хотел...

Пришел опять наверх, а тут огни и блеск и оркестр играет. Даже удивительно, как в волшебном царстве.

Стали с юбилея расходиться, и не мог я томления одолеть, как стал директор Колюшкин собираться.

Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить. Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит:

– Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то...

Побежал я к окну – приметил уж я, что они там грушу положили и мандаринов, – прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему вслед:

– Ваше превосходительство... дозволейте попросить...

А он обернулся и так сердито:

– Я вам, кажется, дал?!

И пошел. А тут меня распорядитель кликнули. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел... не понял...

Обратиться бы и идти домой, ноги не ходят, и состояние такое ужасное, а разве с юбилея-то их скоро прогонишь? Заплатили денюжки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками! Все бутылки по счету проверил, высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель.

– Початые, – говорит, – мы жертвуем для прислуги, за эти вот со счета долой, пусть ресторан примет, а вот этот пяточек – хорошие отобрал! – ты в кулечек упакуй и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру.

Порылся в кошельке и тридцать копеек дал.

И допивали они початое очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли. И разобрали его по всем статьям и начистоту. Под конец у нас всегда так, начистоту... И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все задрызгали и окурков натыкали по всем местам, даже в портьеры. Так что Игнатий Елисеич нам выговор задал, что не смотрели. Подика поговори! И какие жадные! Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал метрдотель с рас-

порядителем ихним, все как есть очистили. И ведь не то чтобы съесть, а и в карман. Конечно, по части фруктов. И каждый так улыбнется и скажет:

– Ребятам, что ли, взять... на память...

И уж как один сделал, так и пошли – на память. И у одного даже мундир просочился – на грушу сел. Конечно, надо же свои шесть целковых отъесть. И ведь тоже знают – как и что. Закуску обработали умеючи. Икры там, омаров и балыка – и звания не осталось. Вмиг сервировали. И разговаривают, а уж руку натрафят без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план. Закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячей чего и потяжелей, а уж там и прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают... Сосисочки на сковородках, тефтели там и форшмаки не осадили сгоряча... Пять раз лососины прирезали и балыка. И, конечно, ресторан наш немного заработал. А к концу еще неприятность.

Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилее был. Барин портсигар серебряный оставили на столике. Искать – нет. Всех номеров опросили – никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А таку-то дрянь, ему и цена-то пятнадцать целковых – кто позарится. Так и не нашли. Может быть, и из гостей кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало.

Одна барыня подняла так-то вот брошку в зале, повертела, поглядела так по сторонам и... в платочек. И я это видел. И она это видела, и вся как маков цвет, а не отдала. А как я скажу метрдетелю? И барыня-то незнакомая... Может, и ее эта брошка. А утром к нам от фабриканта присылают – не у вас ли брошку жена потеряла в пятьсот рублей? Вот и портсигар... Но только нам репутация дороже денег.

VII

Сказался я метрдетелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнату сбились и спят при огне. Страшно им, что Кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти – рядом с той комнатой, где Кривой обитал.

Поднял Колюшка голову и смотрит тяжело так. И сразу похудел, одни глаза.

– Чего ж ты не ложишься? – спрашиваю.

Молчит. А Луша мне:

– Измаял он меня. Хоть ты-то его успокой. Все твердит – из-за нас да из-за нас... И так-то тот все мерещится, а он еще тут... Спасибо еще Черепяхин Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала...

Посмотрел я – дверь в комнату Кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозит. Стал я Колюшку успокаивать. Рассказал, что директора видел и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так:

– Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует... А то привыкли кланяться!..

Очень он меня этими словами уколол.

– А вот ты, – говорю, – привык с отцом зуб за зуб! Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то Кривого, который нам напакостил через свою гордость... Он, – говорю, – и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь!

А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать:

– А вы еще про религию говорите! Религиозный человек!..

Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить.

– А ты, – говорю, – после этого скот, а не сын! Дармоед ты!.. Вот что!

Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы... Рванул я Наташку с дивана, обругал... А она со сна смотрит – ничего не понимает. Пошел, водки прямо из графина. Залить бы все... Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто... Друг дружку обижали... Характер-то у него во-от... каменный...

Легли мы с Лушей спать, и она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что! Во всех углах, говорит, куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то – вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью... А у нас очень крысы полы грызли тогда, – ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша и говорит:

– Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести... Сегодня весь день, как ты ушел, по комнате кружился и себя за голову шупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес... Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит...

– Что ж тут такого? – говорю. – Он к нам очень расположен...

– Да. Если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие... Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся...

А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного спирта. Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился... Черепяхин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился подвиг какой ни на есть совершить, чтобы себя озаменовать. И очень его специальность мучила, насчет трубы. Только и разговору: связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила:

– Что это вы, Черепяхин, такой большой, – а он очень высокий и могущественный, – и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете?... Если бы вы на рояли могли играть, а это даже и не музыка!..

А он весь покраснеет и руки начнет потирать.

– Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха... А если бы у меня были деньги, я бы на рояли стал... У меня очень пальцы способны для рояли...

И как растопырит, такой смех, – как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется.

– Ну тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду.

И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то.

Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия – от черепахи, так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался. А потом вдруг появился и говорит:

– Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали... Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел...

Очень нас насмешил. Чудак был!..

– Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так череп – ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано, и можете даже справиться во Владимирской губернии... И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге... И сам я тоже очень страшной силы человек и могу пять пудов одной рукой вытянуть!..

Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забранилась на него, он опять напрямь вытянул.

– И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите... Я с тем человеком поступлю, как с кочергой!..

Лежим мы с Лушей и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике словно как чвокает что. Луша мне и говорит:

– Никак Колюшка?.. Что такое с ним творится...

А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени.

Вышел я в коридорчик и слушаю: очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит...

– Ай! Испугали вы меня!..

Я ему и стал говорить от сердца:

– Зачем ты и себя и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын... голубчик ты мой! Вот ты плачешь...

А он с гордостью мне:

– Ничего я не плачу! Представляется вам...

А тут спичка и погасла.

Подошел я к нему и сел рядышком. Обнял его в темноте, и так мне его жалко стало... Худой он был – ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости.

И он ко мне притискался. Молча так посидели. Поласкал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце.

Только раз за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услышала:

– Попроси завтра прощения у учителя!.. Ну мало ли и мне обид делали? Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что... А ты бери пример с Иисуса Христа...

– Не могу, папочка... не могу!..

Через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл – папочка. И как-то даже совестно мне сделалось... и хорошо, очень нежно сказал.

– Я не человек буду после... я не могу!.. Так меня унижали, так мучили... Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет! Не стану!..

Вскочил и меня за руки схватил.

– Знайте, что я на гадости не пойду... Я ваш сын, и я рад... Может, я совсем другой был бы... Папочка, вы ложитесь... вы устали... Ах, папочка!.. Так мне тяжело, так тяжело...

За плечи меня схватил, сам дрожит...

И тогда я перекрестил его в темноте.

– Попроси прощения... Мать убьешь, Колюшка... У ней сердце больное...

– Не мучайте... не могу!..

А Луша из комнаты звать стала:

– Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Софроныч... жуть...

Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь, все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А с Лушей припадок случился от удушья, кричала все, чтобы форточку открыть... Всю ночь форточки от ветру бились, точно кто в окошки стучал.

VIII

Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша:

– Зима на дворе... Смотри, какой снег валит...

Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает – зачем. Сказал, что по делу ресторана в одно место.

А сюртук очень ко мне идет, и стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню Спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медалями, и орденами, и нашивками, и такой взгляд привычный, но встретил очень услужливо. Потому у меня фигура складная и, потом, шуба хорошая, с воротником под бобра, как барин я солидный. Как обо мне доложить, спросил. Сказал я, что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня нет, и подал мне бумажку – написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил.

Как на суд я пришел. И к людям я привык, но в таких местах робею. А тут хуже суда, все от них зависит, и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета, в черном платье со шлейфом. Присел я с краю, очень в ногах слабость почувствовал, в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно: служба нам на ноги первое дело влияет.

И строго там у них все. Шкафы огромные, а за стеклами разные фигуры из алебаstra, горки, и звезды, и головы. А на шкафах чучела птиц и банки. И портреты на стенах в рамах, и часы огромные, до полу, в шкафу. Так маятник – чи-чи. Тихо так, а он – чи-чи. А у меня сердце разыгралось. И барыня не в себе. Встала, к окошку подошла, пальцами похрустела и вздохнула. И вдруг мне говорит:

– Как долго... Видите, хочу вас спросить... Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс... Как вы думаете, могут без экзамена принять?... У него всё награды...

А тут я, по привычке, привстал и говорю: «Не могу знать». Она так оглянула и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня... А тут швейцар обе половинки настуж, и входит сам директор, его превосходительство. И совсем другой, чем в ресторане. В мундире, голову в плечи и вверх, и взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть. И сперва к барыне. Поговорил ничего, ласково, и отпустил. Потом ко мне. Как-то сбылся и с ходу руку сует. А я запнулся тут – у меня шапка в руке была... Я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно. Руку-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб.

– Что вам угодно? – важно так спросил и опять мне на лоб посмотрел.

Подав я ему письмо и сказал насчет сына...

Тогда он так пальцем сделал и скоро так:

– Д-да! – как вспомнил. – Д-да! Скороходов?..

Понял я, по глазам его понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил и как из себя стал выкидывать на воздух:

– Да, да, да... Мы не знаем... Положительно не знаем, что с ним делать! Положительно невозможен! Я не могу понять! Положительно не могу!

К шкафу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет, и голосом все выше и выше. А у меня в ногах дрожанье началось, и в сапогах как песок насыпан. И внутри все заглодало. А он все кричит:

– Это недопустимо! У нас училище, а не что!.. Вы своего сына знаете?

– Простите, – говорю, – ваше превосходительство! Он всегда уроки учит...

А он и сказать не дал:

– Не про уроки я говорю! Он разнузданный! Он дерзость сказал!

– Простите, – говорю, – ваше превосходительство! Он не в себе был... У нас расстройство вышло... семейное дело...

Хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил.

– Это не касается!.. Он дерзость сказал учителю!

– По глупости, ваше превосходительство... Я, – говорю, – его строго накажу. Дозвольте мне объяснить...

Но он так разошелся, так закипел, что никакого внимания.

– Дайте сказать! – кричит. – И это не все! Тут гадости!..

И вынимает из кармана два письма.

– Вы знаете... это кто писал мне... донос? Кто это? что это?

И в руки сует. Так мне сразу Кривой и метнулся в голову.

– Что это? Вы об этом знали? Что это, я вас спрашиваю?

Верчу я письма и совсем растерялся.

Вижу – такой крючковатый почерк, с хвостиками, как раз Кривого писание. Так и мне записку писал про извинение, крючками и усиками.

– Это, – говорю, – у нас жилец жил, писарь участковый... Он на нас со злобы... Дозвольте сказать...

А он и слушать ничего не хочет, осерчал совсем.

– Прошу меня избавить!.. Примите меры!.. Я бы, – говорит, – дал знать в полицию, но не хочу марать училище...

И так горячился, так горячился.

– К нам, – говорит, – посторонние с улицы лезут и дразги несут...

Очень много в короткое время наказы и про свои заботы. И пальцем все, пальцем, как не в себе. Разгасился весь, дергается... Я слово, он десять... Сказать-то не позволяет.

– Ваше превосходительство, – говорю, вижу, что он устал от разговора. – Он заботливый и всегда уроки учит и уважает всех... А вот у нас, извините сказать, Кривой, жилец был, который вчера удавился, так он это со зла написал...

А он уж отдохнул и слушать не хочет. И опять стал рукой трясти.

– Довольно, довольно! Не желаю слушать дразги! Это не касается... Я вам прямо говорю! Если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училища!..

– Ваше превосходительство! Помилуйте! Он все сделает и прощения попросит у всех учителей. Я ему прикажу и устыжу при всех... Я, – говорю, – целый день при деле и даже часть ночи, в ресторане, а он без моего глаза рос...

А он мне так на это спокойно:

– Должны соблюдать правила!.. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, и мы рады... Но мы никому не позволим непокорства, хоть бы и сыну самого министра!..

И опять стал нотацию читать, и что не хочет никого губить, а не может позволить заразу, потому что у них пятьсот человек. И я стал просить потребовать сюда Колюшку, чтобы ему прочесть при них наставление.

Он сейчас пуговку нажал и приказал:

– Позвать Скороходова из седьмого класса!

И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь делался, воды отпил. А я притих и стою. А часы только – чи-чи. Только бы скорей кончилось все... Потом отдышался и опять:

– Груб он и дерзок! Не внушают ему дома!.. Надо обязательно внушать и следить!.. С батюшкой спорит на уроках... А в церковь он ходит?

И тут я сказал, чтобы его защитить, неправду.

– Как же, – говорю, – ваше превосходительство! Каждый праздник, я слежу.

Только плечами пожал и фыркнул. Подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало. Только все – чи-чи... А тут как раз и входит мой.

Остановился у шкафа, руку за пояс засунул, бледный, и губы поджаты, даже на ногу отвалился и смотрит вбок. Директор оглянул его и приказал куртку оправить и стать как следует.

Оправился он, надо правду сказать, вразвалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся.

Директор ему и говорит:

– Вот и отец на вас жалуется!.. – А я, правду сказать, не жаловался. – Расстраиваете родителей... Он тоже удивляется вашему поведению... Стойте прямо, когда с вами говорят!..

Так резко крикнул, меня испугал. А тот плечом так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь. То есть ничего не боится.

– Какое же мое поведение особенное? – даже дерзко так спросил. – Меня называли...

А тот ему моментально:

– Молчать! – как крикнет.

Что поделаешь! Стиснул рот и замолчал.

– Ваше дело слушать, а не возражать! Я все знаю!

А Колюшка опять:

– Меня раньше оскорбили...

А тот ему слова не дает сказать:

– Молчать! Я вас выучу, как говорить с начальством! При вашем отце я говорю вам в первый-последний раз: сейчас пойдете в класс, и я приду и... – Учителя он назвал, забыл я фамилию. – И вы попросите прощения за глупую дерзость.

Я стал делать ему глаза и умолять, но он не внял.

– Нет, – говорит, – я не могу просить прощения... Он меня оскорбил первый... Это несправедливо...

Так меня в жар бросило. А директор так к нему и подскочил.

– Ка-ак? Вы, мальчишка, осмелились!.. Грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас! Дали вам образование! Должны считать за счастье!..

А тот дернулся и бац:

– Почему же за счастье? – И так насмешливо поглядел, как на меня.

А у директора даже голос сорвался, как он крикнул:

– Не рассуждать! С швейцаром говорите? Я выучу разговаривать!.. Мальчишка, грубиян!..

Я стою как на огне, а ему хоть бы что! Позеленел весь и так и режет начисто:

– И вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар!

Ну тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны Колюшки, что даже невероятно. Ведь начальство – и так говорить! И директор велел ему идти вон:

– Вон уйдите! Я вас из училища выгоняю!..

А тот даже взвизгнул:

– Можете! Выгоняйте! Не буду извиняться! Не буду!

И ушел. Я к директору, а он и на меня руками. Весь красный, воротник руками тербит, задыхается. А я стал просить:

– Ваше превосходительство... помилуйте... У нас расстройство... не в себе он, мучается...

А он совсем ослаб, и уже тихо:

– Нет, нет... Берите его... мы его вон... исключим... Вон, вон! Не могу... Никаких прощений. Довольно!..

И ушел. Я за ним, а он дверью хлопнул. И остался я один...

Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда... Не становился я на колени, нет, неправда... Я их просил, очень просил вникнуть, а они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил вникнуть. А на колени я не становился... Я тогда как бы соображение потерял... Да... Так вот шкафы стояли, а так вот они, и я к ним приблизился... и стал очень просить... Я, может быть, даже руку к ним протянул, это верно, но чтобы на колени... нет, этого не было, не было... Они вышли очень поспешно, а меня пошатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкафу...

И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал... Глаза такие злобные, и так гордо сказал:

– По поручению директора объявляю, что Скороходов Николай будет исключен.

Повернулся на каблуках и пошел с перышком. А тут мне швейцар и показывает на шкаф:

– Уж вы заплатите, а то с нас взыщут...

И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже. Спросил меня:

– У вас сына исключают? У нас очень строго. А вы идите по карточке этой – и карточку мне в руку сунул – у них такое же училище, и они у нас раньше учились... Могу рекомендовать... У них двести рублей только... А может, и скинут, если попросить...

А как вышел я, ничего не видя, во дворе слышу:

– Папаша! Погодите!

А это Колюшка с бокового хода, с книжками. Бежит, пальто на ходу надевает, и книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегом, мнет, листки выпали, остались так.

– Не надо теперь... не надо...

Но я подобрал их и сунул ему в карман. И снег шел, такой снег... Пошли двором... Смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет. А он назад кинулся, где книжки рассыпал... Стал искать опять, ничего не нашел... Опять пошли к воротам. И уж не смотрю на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снега намело.

– Ну что же... все равно...

Говорит, а сам нос чешет...

– Ничего... я сразу сдам... все равно...

И замолчал. И я ничего не мог сказать: слова не было такого. Иду, он рядом. Дошли до ворот. Тут он оглянулся, посмотрел на училище... и так горлом сделал: гу... И лицо у него было... Щурился он, чтобы не заплакать... И снег нам в лицо прямо был, густой снег. И так глухо сказал:

– Несправедливо меня... они...

Выкрикнул. И заплакал, махнул рукой.

– Все равно... ничего...

Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. Не мог я домой идти. Там Луша.

– Папаша, вы куда?

Насилу я выговорил:

– Куда?... В ресторан пойду...

И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел, а его уж не видно. Такой снег валил, такой снег... свету не видать...

IX

Вот какое мне испытание выпало! А за что? Что я, не исполнял своей службы и обязанностей?

Разговорился я как-то с Иван Афанасьичем – старичок у нас на дворе жил, учитель из уездного училища, в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как ни тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце: другим еще тяжелей бывает!

У него сын как вышел в люди и поступил бухгалтером на фабрику на две тысячи, так его загнал прямо в щель. Так и сказал:

– Вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что вашей пенсии только на квартиру хватает...

И всю пенсию его стал забирать за стол и квартиру и отдавал ему носить свои старые брюки. А поместил его в коридоре на сундуке. А как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить на свой страх на пенсию, не допустил.

– А-а... Вы хотите меня страмить! Чтобы в меня пальцами тыкали! Я теперь на виду у правления и прибавки просил ввиду вашего содержания, так вы мне нарочно, чтобы повредить в глазах!..

Так и не позволил. И на табак давал только тридцать копеек в месяц и велел в кухне курить, где самовары наставляют. Табак очень зловонный... Вот! Так мое-то горе с полгоря! А тот-то всю жизнь на сына положил, за бухгалтерию сто рублей истратил и за место заплатил, чтобы приняли.

И путал я на службе в тот день! Антон Степанычу Глотанову за обедом служил очень плохо, даже совестно. Блюда перепутал, со второго начал. А он и говорит:

– Ключнул, что ли?

Я им даже, помню, и не ответил ничего, и они на меня так внимательно поглядели. Стою неподалечку в простенке, смотрю в окно, как снег валит, а в глазах все комната та со шкафами...

Антон Степаныч ножичком постучали:

– Нарзану я просил!

А у меня в глазах жгет. Принес я им нераспечатанную бутылку. И так мне стало стыдно, что не мог сдержаться... Смахнул салфеткой глаза и откупорил им.

– Что это, брат, с тобой сегодня? – спросили.

Но я счел неприличным сказать им про себя. Извинился за небрежение и объяснил, что заторопился. Нельзя же сказать, что нездоровится, потому что у нас на этот счет очень строго. Нездорового человека нельзя допускать к гостям служить, и было не раз подтверждено администрацией нашего ресторана. Могут брезговать господа. А про сына говорить... И выплакал-таки я лишний полтинник. Всегда они мне полтинник оставляли, а тут положили рубль.

Пришел из ресторана. Луша плачет. И понял я, что ей все известно. Глаза опухли. Про Колюшку спросил. Оказывается, весь вечер письмо писал и потом уходил со двора, а теперь спать лег. А Луша пристала и пристала ко мне:

– Иди к директору, проси еще... Куда его теперь? В конторщики на дорогу?

Сказал, что схожу, попытаюсь. И легли спать. А как вспомнил про письмо да опять про Кривого, как он ночью один с собой распорядился, страх на меня напал. А Колюшка если... Кто его знает! И не ел он сегодня ничего. Какое письмо? Не могу улежать. Слышу, в коридорчике кашлянул. И пошел я к нему послушать. А мне от лампадки из нашей комнаты видно было, как он лежит лицом в подушку. Как был, так и лежит, и даже сапог не скинул. Подошел я к нему и позвал:

– Коля! Ты не спишь?

– Не сплю...

– Что же ты не спишь?

– Не хочу...

– Коля! Ты спи, голубчик... Не надо расстраиваться... Бог милостив.

Молчит.

– Коля, – говорю. – У меня сердце за тебя болит... Ты бы разделся...

– Нет, все равно...

И вздохнул тяжело. Тут я сел к нему, стал его по спине гладить и уговаривать:

– Ничего. Я все силы употреблю, чтобы тебя приняли... Хочешь, к генералу одному пойду, у него влияние большое, и он к нам ездит... Ему только слово сказать... Он для меня снизойдет...

А он как вскочит!

– Смеетесь, что ли, надо мной? – Задрожал весь. – Да я лучше...

– Что? Что ты лучше? – спрашиваю его.

– Ничего... А экзамен я сдам и без них. Вы думаете, я не понимаю? Я все понимаю!..

Мне, может, больней вас...

И задрожал у него голос.

– Вы, – говорит, – всё радости ждали от меня, а я вам вот что...

И так стал рыдать, так рыдать... И Луша прибежала, и Наташка проснулась... А он в голос, в голос... Встал, на нас смотрит, трясется, точно его кто бьет. И челюсти у него так стучат, так стучат...

– Простите меня... Измучил я вас, измучил. Я все сделаю, работать буду...

Потом оправился и сказал, что спать будет, чтобы успокоились. А как те ушли, и говорит мне:

– Слушайте. Вы ничего не повернете. Я им письмо послал и все сказал...

– Кому письмо послал?

– Им, директору и всем учителям... Все сказал.

– Что ж ты теперь наделал? – спрашиваю.

– Все им сказал. Думаете, я еще ребенок? И ваше положение знаю... А вы мое-то знаете?

Хоть словом сказал я вам про свою тоску? Не хотел вас расстраивать...

Схватил меня за руку, стиснул.

– Нет, нет. Ничего не говорите... Выслушайте, что я вам скажу... Мне некому и сказать-то... Папаша, милый!..

– Ну хорошо, – говорю. – Успокой ты меня... Извинись...

А тут я вспомнил, что письмо-то он послал им.

– В чем? Что меня все годы мучили? Не знаете вы их!

И стал рассказывать про свое. Как относились к нему и как надзирателишка его поедом ел и издевался.

И так мне стало за него обидно!

– Меня, – говорит, – еще с первого класса всё так отличали, и еще некоторых. И все тот носатый. Он все чистеньких любил, а я без воротничков ходил... Оборванышем называл. – Он, – говорит, – подлец, даже мою фамилию коверкал нарочно... Скомороховым звал!.. Чтобы смеялись.

И что же оказывается! С пятого класса насчет таких делов просвещал, чтобы туда... И адреса давал. А про Колюшку распространил, что он таким пороком занимается... А?! Ему товарищи сказали. И мой Колюшка пристыдил его при всех за ложь. Ведь это что же!

– Он, – говорит, – меня вшивым раньше называл, на гимнастике на палке кружиться приказывал, а у меня голова не выносит. До ненависти меня довел! А сегодня, как я выбежал из приемной, он стоял за дверями и подслушивал. И спросил меня, гадина: «Как дела, господин Скоморохов?» Ну и обозвал я его подлецом в глаза...

Что ж я мог ему сказать! А потом и спрашивает:

– Мне директор про какие-то письма говорил... Какие письма, вы не знаете?

А я про них совсем позабыл, про письма-то Кривого. Достал я из сюртука, зажег лампочку, и стали мы их читать. И что же оказывается? Так он там все наплел, что и не поверишь. В одном написал, что Колюшка ругает начальство так-то и так-то и говорил про политику, а в другом написал, что все наврал в письме, а начальство всё прохвосты и он донесет на всех про взятки. Прямо он уж тогда был не в себе...

Досидели мы так в душевном разговоре до пятого часу, и вдруг заявляется с балу Черепахин. И очень сильно заряжен.

– По какому поводу бдите? Опять, что ли, кто повесился?

И хоть выпивши он был, но я ему все рассказал, что так и так. А он вдруг на трубе хотел туш. Насилу я его упротил. Разошелся вовсю. Очень хорохорился, врал, как капельмейстеру при публике в ухо плюнул. А голос у него зычный, и разбудил он Наташку. Она из комнаты на него закапризничала. А он сейчас тише воды ниже травы и меня вызвал к себе в комнату. И говорит:

– Желаю знать ваше направление... Хотя мною и гнушаются, но я как-никак себя ознамену в последствии, будьте покойны... Это уж я себе назначил. А вот что скажите... Если секретно от родителей, за барышней ухаживать можно? Только одно слово?

– Да почему вы так спрашиваете? – говорю.

– Нет, вы скажите, допустимо? Я для одного приятеля...

Сказал ему, что это, конечно, неудобно.

– Верно! И очень даже, – говорит, – опасно в отношении судьбы... Теперь очень много хлюстов... А если офицер, как вы полагаете? Я их знаю, потому что сам из солдат. Можно?

Ну я сказал, что нехорошо.

А он мне на это:

– Как я верно понимаю!..

И стал просить, что если с квартиры переберемся, чтобы ему комнатку уделить... А с квартиры мы с Лушей порешили съехать. Такая несчастная квартира попалась.

Х

И переехали мы из дома барышень Пупаевых. А квартиры все очень дороги, и потому сняли квартиру в расчете сдачи комнат, как это теперь заведено и очень облегчает расходы. Наш буфетчик вот снял квартиру за сорок рублей, а сам за комнаты сорок пять рублей выгоняет. Ну и мы, слава богу, устроились ничего.

Одну комнату взял за себя Черепахин и пустил к себе жильца, знакомого, – на скрипке играть ходит в кинематограф. И еще комнату сдали молодой чете – Васиков через Колюшку рекомендовал – молодой человек и его сожительница. Хоть и не в законном браке, но нам какое дело? Плати деньги и чтобы тихо было. И опять Колюшке спать в проходе пришлось. Наташке надо комнатку – девица на возрасте, и, конечно, ей надо аккуратно себя держать. Вот ей мы отгородили ширмочкой уголок в столовой. И стала наша квартира как ковчег Завета: куда ни войдешь – всё постели.

И я совсем успокоился, потому что Колюшка стал очень сильно учиться к экзамену. И Васиков, с железной дороги-то, тоже ходил к нему по вечерам заниматься сообща. И пошла наша жизнь тихо-мирно.

И одного только мне не хватало: рассорился с нами Кирилл Саверьяныч. Хоть он и вострый был на язык и очень гордый, но утешитель был при разговоре. И так мне стало скучно. И задумал я его опять приблизить к себе. Потолковал с Колюшкой, чтобы он ему хоть извинительное письмо написал, авось он отойдет. А Колюшка уперся – нет и нет. Хитрый он! Да ведь хоть какое развлечение, а у меня ни души знакомых. И в гости не к кому сходить. Свои-то, официанты, надоели в ресторане. А Ивану Афанасьичу до нас далеко стало, учителю-то, и прихварывать он стал.

Тогда я сам в праздник до ресторана пошел к Кириллу Саверьянычу.

У него заведение было на углу, у Вознесения, очень шикарное, с зеркальными окнами, и на большой вывеске под бархат золотыми буквами явственно было по-французски: «Кауфер Кириль». Это так для образованной публики, а он, конечно, по фамилии просто Лайчиков.

И вот вхожу я в магазин, а он сам работает во всем белом и бреет господина. Увидал меня и так вежливо, но с тоном в голосе показал мне рукой на стул:

– Будьте добры...

Точно я бриться к нему пришел. Подлетел тут молодец ко мне с простынкой, но я его отстранил. А Кирилл Саверьяныч и не глядит на меня. Бреет и покрикивает:

– Мальчик... щипцы!..

Наконец, вижу, освободился – и так равнодушно:

– Чем могу служить?

Вижу, что тон задать хочет, а глазами пытается. Тогда стал ему по сердцу говорить, что вот у меня потеря такого человека, которого я уважал до глубины души, и что мне очень горько... И сказал ему, что такое несчастье нас постигло. Колюшку выгнали, и он тоже извиняется. Это чтобы его растрогать и расположить. Тогда Кирилл Саверьяныч вынул гребешок и стал хохолок причесывать, а сам как бы раздумывает.

И сказал уже совсем мягким тоном:

– Видите, как сама судьба все направляет! Причина к причине идет. Хотя мне очень прискорбно.

И все гребешком расчесывает хохолок.

– Очень, очень грустно по человечеству... Но помните правило жизни! Обруч гнуть надо, распаривши... все это самое... Значит, надо приспособиться, а он у вас думает сразу... И вот финал!

Очень посочувствовал мне, а потом и говорит:

– Я размыслил и нахожу, все это самое... что было недоразумение на словах. Извиняю его, потому что он и так пострадал. Пожалуйста кушать чай...

И отвели мы душу в разумной беседе о жизни, и я был им так обласкан и утешен, что как посветлело мне все. И обещал опять по-старому заходить и успокоить Колюшку. И даже приказал меня постричь и побрить, хотя я сам производил эту операцию, и даже велел освежить лицо одеколоном.

И так все шло по-обыкновенному. Жильцы люди попались аккуратные, платили исправно, хоть и совсем бедные были. И с Колюшкой у них дружба началась. Луша сказывала, как дома они, так все вечера у них в комнате торчал. И все мне стала петь:

– Ох, боюсь я, влюбится он в жиличку... Такая она шустрая да вольная... И свободным браком живет...

Очень стала беспокоиться. И на Наташку стала жаловаться. Как вечер – шмыг на каток. А долго ли до греха? Девочка она у нас красивая и даже очень хороша собой, и одна по улицам бегать стала. Сказал я ей, а она мне:

– Не ваше дело! Я не маленькая и не желаю в четырех стенах сидеть... У нас все катаются...

И оказывается, стали ее гимназисты и даже студенты домой провожать, и она с ними у ворот простаивала и хохотала. Луша их раз шуганула, из лавочки шла, так та ей такой скандал устроила!..

– Вы что же, хотите, чтобы я сбежала от вас? Я общества желаю!.. Вы необразованные и не понимаете приличий...

А тут я прихворнул что-то, с неделю провалялся. Жар открылся и головокружение. И так меня болезнь напугала! Ну, как помру! И дети на ноги не поставлены, и Луша-то без средств... Хоть бы домик был, все бы ничего, а то никакой собственности... В богадельню ей идти придется, да и то если протекция. А на детей какая надежда!

И решил я тогда на постели, в жару, если оправлюсь, копить и копить. А было у меня на книжке шестьсот с чем-то рублей. Если бы еще тысячи полторы, можно бы у заставы где домик с переводом долга купить. И порешил я тогда во всем себя сократить и каждый день

откладывать хоть по рублю и завести секретную книжку, чтобы и Луша не знала. Убавился, мол, доход – вот и все. А то она Наташке то на ленты, то на каток – много расходов. И курить решил бросить, только какие папиросы на столах забывают... И потом сразу и обрадую через годок.

А Луша все пристаёт:

– Домик обязательно надо... И сны я стала видеть... все черные собаки мохнатые снятся... Это всегда к собственному дому...

И как поправился я, пошел к Кириллу Саверьянычу посоветоваться. Тот сразу одобрил и посоветовал:

– Это можно ускорить. У меня есть знакомый нотариус... Он берет деньги по мелочам и людям в нужный момент под вторые закладные отдает из двенадцати процентов, а сам по восьми платит... Только четыре процента себе за хлопоты оставляет...

И знакомый оказался – Стренин, Василь Семеныч. Всегда с Глотановым, Антон Степанычем, у нас завтракают, очень богатый человек. Но только он меньше тысячи не принимал.

– Вот и прикапывай! – посоветовал мне Кирилл Саверьяныч и стал опять по дружбе «ты» говорить. – Очень хорошо, что такое желание у тебя. Для пользы отечества всякий должен иметь свое обзаведение, и потому начальство завело кассы... И я даже своим мастерам карточки для марок роздал из касс, а они, дураки, разве что понимают! Завелся пятак – и уж грызется в кармане... А вот за границей почему порядок и покой? Потому что там даже в училищах приказывают копить... Да! И там у всякого почти рабочего свой собственный дом!..

И такие его разговоры так меня укрепили, что окончательно я порешил копить и копить. И когда пошел в ресторан, зашел в часовню и просил отслужить молебен во исполнение задуманного дела. Ах, как я себе в уме представлял обзаведение домиком! И садик бы развел, березок бы насажал, и душистого горошку, и подсолнухов... И были у меня хорошие куры на примете, лангожаны, замечательные куры у нашего повара одного... Да ведь за тридцать-то девять лет кипения мог бы себе хоть такое удовольствие доставить... Чайку-то в своем садике со своей ягодой напиться... Да-а... Попил я чайку... попил...

XI

А время было самое горячее для ресторанов, после Рождества. Работал и работал. Такие бывают месяцы в нашем деле, что за полгода могут прокормить. Сезон удовольствий и бойкой жизни. Возвращаются из-за границы, из теплого климата, и опять обращаются в жизни напоя. И потом господа из собственных имений... По случаю как продадут хлеб и другое, и также управляющие богачей. Очень любят глотнуть воздуха столицы. А потом коннозаводчики на бега, а этот народ горячий для ресторанов и любят рисковать очень на широкую ногу. Такое кипение жизни идет – оборот капиталов!.. А потом из Сибири подвоят, народ особенный, сибирский... В один день год норовит втиснуть, да чтобы со свистом. А это купечество и доверенные приезжают модные и другие товары закупать на летний сезон.

Вот такой сорт публики для нас очень полезный. Копейке в зубы не засматривают... Ну и измывают, конечно, так, что по ногам-то ровно цепями молотили. Наутро едва подынешься.

Таких-то дней не только мы ждем. Метрдотель-то еще больше нашего ждет... А ведь это штука не малая.

Вот метрдотель... Ведь вот кто хорошо не знает – не может понять даже, что такое метрдотель!.. А это уж как кому какое счастье. Это не простой человек, а, можно сказать, выше ученого должен быть и уметь разбирать всех людей. Настоящий, породный, так сказать, метрдотель – это как оракул какой! Верно скажу. Чутьем брать должен. Другой скорей, может быть, в начальники пройдет, и в судьи, и даже, может быть, в губернаторы, а метрдотель выше его должен быть по голове. Взять официанта, нашего брата... Хороший лакей – редкость, и боль-

шой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать по всем статьям, потому что обыкновенный человек по природе своей приспособлен для натурального дела и имеет свой обыкновенный вид, как всякий обыкновенный человек. А лакей – он весь в услугу должен обратиться, и так, что в нем уж ничего сверх этого на виду не остается. Уж потом, на воздухе, он может быть как обыкновенно, а в залах действуй, как все равно на театре. Особенно в ресторане, который славен. Ну прямо как на театре, когда представляют царя или короля или там разбойников. А метрдотель... это уж высший номер наш, как королек или там князек из стерлядки, значит, белая стерлядка, редкость. Он должен проникнуть в гостя и посетителя и наскрозь его знать. Так знать его по ходу, чтобы не делать ошибки. И потом ответственность! Как тоже к гостю подойти и с какой стороны за него взяться, в самую точку попасть! И чтобы достоинство было и движения... Это любят. Такие движения, чтобы как дипломат какой. И потом чтобы был весь во всей фигуре. Маленький метрдотель даже и не может быть. Тогда он должен в ширину брать... И тощих тоже нельзя, потому на взгляд не выходит. И такой должен быть, чтобы от обыкновенного официанта отличался. По зале пройдет, так что как бы и гость, но так, чтобы и с гостем не перепутали...

Может выйти неприятность, да и бывали. Раз вот так-то с артисткой вышла история. У нас на парадных обедах дамам букеты цветов подают, так вот одна артистка шла в зал, а у двери наш метрдотель Игнатий Елисеич букет подал с таким движением и такой взгляд сделал, что она ему головой так кивнула и такую улыбку приятную сделала. Подумала, что это ей любитель. И потом, как узнала все, ее кавалеры выговор сделали метрдотелю, зачем так подал. Это уж перестарался.

Очень трудное дело при тонкости публики. У ней все на расчете: и не глядит, а все примечает и чувствует. Надо тихую линию вести и изображать, чтобы солидность и юркость чтобы светила. Чтобы просвечивало!

А капитал у него, может, побольше кого другого. Хороший метрдотель только времени выжидает, и как свой курс пошел и капитал уловил, выходит обязательно в рестораторы... И на чай ему нельзя принять просто, а надо по-благородному. Ему на чай идет как за труд мозга и с куша, и больше по кабинетам, и за руководство пира.

А это очень трудно. Надо очень тонко понимать, как и что предложить, чтобы фантазия была! Только немногие знатоки могут сами выбирать обед или ужин деликатес. Да вот и просто, а... Придет какой и важно так – карту! И начнет носом в нее и даже совсем беспомощно, и никогда сразу и по вкусу не выберет. И выберет, так общеизвестное. Знают там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, беф англес... А как попал на трехэтажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит виктория паризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, а тут самая сытность для третьего блюда!.. Или взять тимбаль андалуз корокет? Ну что? Он прямо беспомощен и, чтобы не сконфузиться, не закажет, а если заказал, тоже осрамился. Потому что это даже не блюдо, а пирожки...

Мы, конечно, преysкурант должны знать наизусть, как «Отче наш», и все трудные имена кушаньев, ну иной раз и посоветуешь осторожно. Но могут и обижаться. Один вот так заказывал-заказывал мне при барынях закуску, рыбку и жареное, а потом и говорит важно так: «А потом еще для четвертого – тюрбо». Ему название понравилось. Я и скажи, что рыбка это будет, потому, вижу, не понимают они... А он на меня как зыкнет: «Знаю, знаю!» Однако отменили потом.

Вот тут-то метрдотель и нужен. Он так может изобразить и направить, что вместо красной на четвертной взведет, да еще красненькой-то и накроет, если гость стойкий. А вот для тех, которые из Сибири, метрдотель прямо необходим. Уж такого-то он, как дите, должен взять в свою заботу и спеленать. Тут его фантазия как раз. Такие блюда может изобразить – не поверишь. Ну и мазь тут уж обязательно бывает. С примастью, так сказать...

Опять товарец... Известное дело, что такое «товарец»... И вот тут опять метрдотель. Спрашивают в кабинетах, и наше дело доложить, а они уж знают, метрдотель-то... Конечно, и из них не всякий за это дело берется, но наш Игнатий Елисеич на этот счет большой специалист. И я получал от барышень этих и птичек на чай, но как перед совестью скажу, никогда самостоятельно не рекомендовал гостям и не подставлял в нужный момент. Очень это нехорошо, и я понимаю, и потому у меня самого дочь росла... Батюшке на духу говорил, и он сказал, что такие деньги, если нельзя отказаться, лучше подавать на церковь.

И вот как укрепился я на мысли, что надо скорей накопить для домика, как раз тут и подошла полоса.

Остановились у нас из Красноярска два купца в гостинице при ресторане и стали прохладиться. И мне от них очень полезно – по душам я им пришлось ввиду баков.

И вот как-то ужин велели сервировать в отдельном кабинете. И с ними еще здешний был доверенный по модному делу. Всё с ним возились, кто кого обставит. Народ зубастый: для удовольствия ему не жалко тыщу-другую протранжирить, а на дело он от своего процента не уклонится, хоть ты ему что угодно. И пришли в достаточные градусы, все с водки, да на коньяк, да опять на водку. И закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. И как пришли в хорошее состояние духа, сейчас меня:

– А как бы нам, Аксен Симоныч, зефиров... французской марки!..

Я и не понял. Зефиров! Зефиром у нас называется вроде пирожного – буше там и вообще воздушное. Но как доверенный-то сказал, что живого салатцу, да как языком пощелкали, я, конечно, понял. И доверенный-то, знаток, прямо приказал:

– Позови метрдотеля, у него справку возьмем!..

И это он верно, потому что у Игнатия Елисеича нашего даже запись телефонов есть, и вообще как справочная контора. Барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях. Но ведь и ресторану не убыток. И даже не только телефоны мог указать, а для уважаемых людей мог целый кинематограф карточек предложить в пакетике, как образцы. Сами барышни давали, это уж я знаю. У него в письменном столе хранился этот пакетик.

Попросил я к ним Игнатия Елисеича, и он им этот пакетик доставил. А сам, конечно, ушел, чтобы достоинство соблюсти. И началась обычная история... Начали они тут ревизию производить. А доверенный тоже знаток оказался, здешний, и не впервой ему это, так очень старался для них, чтобы расположить в свою пользу. Как все равно вина выбирал и к градусам прикидывал.

– А ну-ка, какие у вас тут примечательные есть, ну-ка?

Очень старался говорить, который постарше. У него отвислая губа, красная и мокрая, даже рукой ее подбирал. И в глазах у них туманность и в голосе запал. А доверенный-то объясняет:

– Эту вот я знаю... ничего... А эта с жилкой... А эта полукровка... Ах, шельма какая, Нюшка...

А старший крякает и пенсне надел, по карточке щелкает пальцем.

– А че-орт... тощая какая! Девочка совсем... а, че-орт!..

Как камни ворочают, с одышкой.

– А у этой фигура... И с истерикой даже...

Такой знаток оказался доверенный, даже нельзя было поверить. Очень про дело хорошо говорил и тут специалист. А я стою, смотрю на них от портьеры и думаю: «Ведь это что! Колюшка-то этого не видал...» А у него даже остервенение против этого. И вот ему тогда лет девятнадцать было, а он ни-ни! Это я знал, и Луша знала по некоторым приметам, а так я не мог с ним про это обсуждать – стыдно было.

И вот весело они так выбирали. Эту, а потом откажется и скажет: вот эту лучше. Увидали, что я у портьеры стою, и говорит старший:

– Не засти! Пошел!..

Вскорости потребовали метрдотеля и, конечно, заказали.

И как прибыли спустя время три по заказу, то коридором были проведены в кабинет. А прибыли, как всегда в таких случаях полагается, самые опытные, и началась мазь.

Выбор выбором, а метрдотель-то тоже очень хорошо понимает, которая занята, а которая свободна. Заказывать ужин. А уж тут блюда самые рискованные. Конечно, суть-то в вине, но и блюда тоже... Такие блюда можно сотворить, что и в картах не сыщешь. Вот тут-то и мазь!.. И по произвольному тарифу. А что они могут понимать, которые из Сибири? Им покрепче да позабористей, да чтобы кошельку не в обиду. А обида у них часто наоборот.

Скажи ты ему – крем де ля рень... Он за сладкое считает, а тут суп. И ему даже приятно. А порция-то два-три целковых! Или риссоли... А говорит, солёный рис! Да не угодно ли пирожков, а не рису! Для некоторых даже развлечение. А из них, этих самых зефилов, есть такие, которые наш преёскурант вот как знают, и потом, у них тонкая фантазия. И они знают, что надо, чтобы о них метрдотель помнил. И должна она как следует повести гостя, а особенно такого сорта. Есть из них очень падкие, гости-то. У него ноги, как у петуха, извините за слово, сводит и в губах судорога, а она с прохладной истомой:

– Ах, как страшно есть хочу!.. Ужасно!

И есть-то она не хочет, а говорит так свирепо, чтобы раздражить. И сейчас карту. И того-то не могу, и это противно, и так, и эдак, и ручку отставит, и шеей так, и глазами обожжет. И давай, и давай – то того, то того... Эта ведь не такая, как в маленьких ресторанах. Там и сорт иной, помельче. Там просьбой и глазками, и там она есть по-настоящему хочет, как человек. Там она, может, день не ела. Там она выпрашивает с осторожностью: можно ли мне котлетку съесть или ветчинки... А тут она прямо командует. Дайте острые тефтельки по-кайенски! Вот за остроту-то и навар. Так их порция – полтора, а за остроту-то примасть – три с полтиной! Да гранит виктория по-парижски! А по-парижски-то, может, и сам главный повар не знает как. Переложил лист салату на другое место, вот тебе и по-парижски! Бывало.

Мы-то уж понимаем, какая тут демонстрация идет. И вот еще такие господа очень любят приводить барышень к градусу, и ресторану, конечно, выгодно, чтобы вина выходило в норму. Так для этого подставляются чашки полоскательные хорошего фасону, конечно, для отлива, будто для прополаскивания рта. И они умеют вовремя найти такую соринку или уронить в бокал крошку какую, и сейчас вон. Или опрокидывают по нечаянности. Уж как следует стараются.

И вот приехали три женщины, очень выразительные. Ну и как всегда. Сперва более-менее короткий разговор и примериванье, а потом все живей, и так далее. На разжиг пошло ходом. С вывертами и тому подобное. И уж как стали до десерту доходить, то пошло как следует, беззастенчивое приближение. Каждый по своему вкусу себе распределил. Один, который постарше и губу рукой подбирал, облюбовал совсем легенькую, и лет восемнадцать ей, и она через плечо, закинув голову в пышной причёске, бокал и к нему свой тянет и через лоб смотрит, а он ей шейку щекочет, козу делает... И вообще у всех что-нибудь, как игра.

И вот мне тогда случай подошел, как бы полное исполнение желаний.

Покружились они так на словах, разожглись, насмотрелись на кофточки и шейки, – одна извинилась и корсет свой стала перед зеркалом чуть ослаблять и чулок сквозной поддернула, – и пыхтенье стало усиливаться у всех, как на трудной работе, и приказали автомобиль вызвать, за город, значит, катнуть для продолжения. И потом один, помоложе, стал фокусы показывать. Что-то под столом руками делал, вытаскивал что-то из сюртука и потом стал свою штучку за ушками щекотать и по волосам гладить. И как ни погладит – пять рублей золотой и вытянет из шевелюры. И ей за горлышко опустит. И другим это очень понравилось, и стали просить. Он и им тоже напускал за шейку. И так они тут стали ежиться от щекотки и делать разные движения всем телом и такой пошел азарт с пыхтеньем, что все распалились до неузнаваемости. И потом

стали трясти барышень, и у них разные монеты из-под платья стали выскакивать – и рубли, и двухгривенные, и золотые даже, и началась ловля монет. А это все для фокуса.

Вот фокусник-то вдруг и говорит:

– А где же десятирублевый?

И стал прикидывать, куда он мог задеваться. И тогда стали играть в сыск-обыск.

– А не застряли ли за корсетиком? Дозвольте ревизию сделать? Позвольте?

– Пожалуйста, только не щекотайте...

И все пошли в сыск-обыск. И мне из-за двери все слышно и видно в щель. Такой смех!.. И взвизги пошли.

– А не попал ли в чулочек? С вашего позволения... Или сюда?..

– Ах, нет, нет...

– Нет, уж вы покажите... за спинку не закатился ли?..

И разве подробные замечания насчет туалетов. Да что говорить, не то еще бывало. А старики так хуже молодых. Нарочно себя распаляют.

Наконец уехали на автомобиле дальше. И вот как стал я прибирать кабинет, то нашел пару пятирублевых и три полтинника, в углы откатились. Держу их на ладони и думаю – положить в карман? Ведь как сор они для гостей, суют их без толку... И положил их я в карман. Одиннадцать с половиной!..

Стал прибирать, а в голове разные мысли все про находку. Вот это им, тем, за обыск уплатили, а я их вот взял... Стал по всему кабинету елозить, под кушеткой пересмотрел, под коврами... Еще сорок копеек нашел. Подхожу к столу, смотрю... И даже во мне дрожь. Смотрит из-под стола бумажка... Беловатая и кружок черный, краешком. И сразу постиг – не простая это бумажка. А тут еще номер пришел помогать в уборке, а во мне трясение... Увидит. Говорю ему: неси подносы с посудой. Понес он, а я нагнулся и подхватил. И на ощупь узнал, что не одна бумажка. Развернулся к сторонке – пять сотельных, в четвертушку сложены. Выронил гость, значит, как под столом деньги вынимал для фокусов. Так во мне все и заходило... Руки-ноги дрожат, в глазах черные кружочки... Вот как Господь послал. Все думал, как бы скопить, а тут сразу – на! Смял их, завернул брюку и в сапог поглубже... Хожу как угорелый. И потерять боюсь. Побежал в ватер, переложил из сапога в карман, потом вспомнил, что фрак оставляю в официантской, как бы не забыть, засунул под мышку на голое тело, и оттуда вынул, спрятать не знаю как, чтобы не потерять.

Крутился я с ними – страсть... И боязно, что схватятся, и жалко. А может, они их там потеряли где! За мной ни разу никогда не замечено, а им что! Они, может, в один час больше простреляют... И без бумажника нашел. Вот Луша-то все собак мохнатых видела! К деньгам и видела, черные кружочки-то! Так у меня в голове-то как дым. Полбутылки шампанского мы выпили с номером, который со мной убирал. И шампанское-то никогда не любил...

Они, значит, в первом часу укатили, а я все минуты считаю. Два пробило, конечно. Не хватились. Давно бы пора схватиться... Пьяные теперь совсем.

Метрдотель меня зацепил:

– Чего у тебя брюка заворочена? По зале бегаешь...

Испугался я даже. И как убралась – домой. Так побежал, побежал... Это мне сам Господь, думаю. И уж стал подходить к дому, и вдруг как искра в глазах. Вижу вот Колюшку... И как нарочно что повернуло в мозгах и вылезло, как мы с Кривым поругались, что он пьяный кричал, – что знаю, мол, вас, интендантов-официантов, как по чужим карманам гуляете, – он после того скандала не в себе был. Ходил-ходил так все, щелкал-щелкал пальцами да вдруг подходит и говорит:

– Может, я и не имею права просить отчета, а меня смущает мысль...

– Какая такая мысль? – спрашиваю.

– А вот. Вы нас кормите-питаете... а правда, что Кривой кричал?

Ну я ему и ответил. Я тогда сгоряча пощечину ему закатил. Вот тебе – питаете! Вот тебе! И потом такое со мной вышло, что от сердца всю ночь страдал, а Колюшка ничего, даже потом смеялся и у меня на постели сидел.

– Я, – говорит, – вас очень хорошо знаю... Простите...

Ну мы тогда с матерью порадовались за такое его чувство, потому он у нас очень прямодушный вышел, даже до злости.

И вот перед нашими воротами совсем встал он мне перед глазами, как тогда смотрел на меня. И остановился я у фонаря. Не знаю, как быть. И слышу, как они у меня в боковом кармане хрустят, проклятые. Значит, краденые деньги в дом ташу... кормить-питать. Никогда я ничего подобного раньше, и Колюшку по щеке отлупил. Не могу идти на квартиру. Страшно себя стало. Да что же это? Значит, всю жизнь насмарку? А она-то, моя жизнь-то каторжная, одна у меня была, без соринки была... Одно мое, эта жизнь без соринки. Всем могу плюнуть, кто скажет, не только сыну! Сам Господь, думаю, теперь на меня смотрит... И ждет он, как я распоряджусь... Может, нарочно и послал бумажки, чтобы знать, как распоряджусь...

Стою у фонаря. Извозчик-старичок едет и спит, а мороз здоровый. Еще окликнул я его, чтобы не замерз, а он как вскинется да как ударит от меня... Такой меня страх охватил. И пустился я назад, бегом.

И в глазах у меня жгет, чувствую я, что очень хорошее дело делаю. И еще себя хвалю: так, так. Вот Господь послал, а я не хочу, не хочу. Вот... И никому не скажу, что сделал. А сам про себя думаю: мне теперь Господь за это причтет, причтет. И бегу и думаю, как правильно поступаю. Кто так поступит? Все норовят, как бы заграбастать, а я вот по-своему! И боком думаю, с другой стороны, будто слева у меня в голове: дурак ты дурак, они все равно их пропьют или в корсеты упихают. А я, с другой стороны, будто справа у меня, думаю: будет мне возмездие и причтется...

Может, и причлось... Так полагаю, по одному признаку, – причлось. В городе незнакомом старичок один на морозе теплым товаром торговал... Причлось, может быть... Может, и за это...

Прибегаю к ресторану – темным-темно, огни потушены. В гостиницу нашу, где купцы остановились. Коридорный Степан спрашивает:

– Что тебя прохватило? Еще не приезжали... Зачем понадобились?

– Деньги оставили под столом...

– А-а... Получить захотел? Много ли?

Народ у нас очень любопытный.

– Пять сотен!

– Да ну?! Пя-ать сотен!.. В бумажнике?

– Голые... Хотел в контору сдать, а уж закрылась...

– Гм... – говорит. – Надо бы в контору... Только пятьсот?

Будто я больше нашел!

Стал ждать. Вот в часу шестом приезжают. Старика под руки волокут, и он весь растерзан, крахмальная сорочка сбоку вылезла, галстук мотается, и часы из кармашка выскочили и по коленкам бьют. А волокли его фокусник тот, тоже в надлежащем виде, но на ногах стоек, и швейцар снизу в спину поддерживал, как на себе нес. А тот мычит все – кра-кра... а закончить не может. И потом нехорошими словами...

– Не хххо... чу!.. Кра!..

И губа у него совсем вывернулась, как красный лоскуток в бороде. Уперся на последней ступеньке ногами, назад на швейцара откинулся и того шубой накрыл. И тут с ним нехорошо сделалось, лисиц стал, конечно, драть, на ковры... А не сдастся, все кракает. Ножкой топочет, прямо на шубу, на угол попадает. И коридорный тут помог. Подхватили все его за шубу и понесли в номер.

Доложил коридорный про меня фокуснику, и позвали меня в номер. Старик в шубе на кресле сидит, с себя обирает и на ковер сплевывает, а по воздуху пальцами все, как щупает, и опять кракает, а фокусник окно раскрыл, обе рамы, и из графина, запрокинув голову, воду дует и рыкает в графин. Увидал меня.

– Тебе еще чего, рыло?

И выложил тут я одиннадцать девять гривен, которые подобрал, заодно уж и пачку.

– Вот, – говорю, – сударь: после вас по уголкам подобрал...

Он на меня уставился, лоб потер, на деньги посмотрел и полез в карман. Сперва в потайной, в брюках сзади. Вытащил сверточек в газете, пошевелил и на стол бросил. И много там было разных. Потом полез в боковые, в жилеточные, в разные и давай выворачивать все, а сам ворчит и черта поминает. И тут у него и гладенькие, и скомканные, и в полоску, и трубочками, и звонкие. Со стола падают, мелочь рассыпал, из кошелька стал вытряхивать. Считал-считал. Потом уставился на лампу.

– Все равно, – говорит, – давай!.. Ничего больше?

Сказал, что все вот. Вытянул он тут пятишницу из кучки и дал.

– Ты... человек... из парка? – спросил.

Сказал откуда. Посмотрел он на меня сонно, так вот обе руки поднял и замахал.

– Ступай, все равно... Кланяйся Краське...

Очень был сильно выпимши, хоть и на ногах. Спросил меня Степан – у двери он стоял и слушал – много ли дал. Узнал, да и говорит:

– Охота была носить... Он и не помнит-то ничего...

И как пришел я домой, Луша в тревоге. Что да что? Сказал ей, что с гостями задержался.

– А у нас-то, – говорит, – до четырех гости у жильцов были, и Колюшка жиличку прогуливать ходил, угорела она... Только как бы чего не вышло...

– Чего это такое – не вышло?..

– Да больно за ней ухаживает и дипломат подает... В щелку к ним, – говорит, – смотрела, а он так с нее глаз и не сводит. А жилец-то не замечает ничего, как слепой... А она такая вольная, как говорит с ним, прямо его Николаем зовет... Хоть бы ты, – говорит, – как-нибудь Колюшке замечание сделал...

И я-то, надо правду сказать, замечал это и беспокоился.

Другое бы что надо замечать...

ХП

Прикопилось у меня на книжке к февралю рублей восемьдесят, потому что очень хорошо шли чаевые. В жизни очень бойко стало. У нас, по случаю войны, бывало много офицерства, и вообще по случаю большого наплыва денег на казенные надобности очень широко повели жизнь господа, которые близки к казенным надобностям. Совсем неизвестные люди объявились и стали себя показывать. И потом пошла страшная игра в клубах, круговорот денег, а это для нашего дела очень полезно: выиграет и для удовольствия покушать придет под оркестр, и проиграет – может прийти для отвлечения от тоски.

И потом у нас новые празднества в ресторанах пошли, чего раньше не было: пошли банкеты. Это такие парадные ужины, и пошел новый сорт гостей, которые очень замечательно могли говорить про все. Сердце радовалось, как резко говорили.

Что хорошего увидишь в ресторане, а вот и у нас, оказывается, не клином сошлось. Очень заботились и даже горячились. И вот как много оказалось людей за народ и даже со средствами! Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь. А как к шампанскому дело, очень сердечно отзывались. И все-то знают, как надо и что, потому что очень образованные. И сколько

раз посылали телеграммы... Очень хороший был нам доход и для ресторанов. Служишь, рыбку там подаешь, а сердце радуется, потому что как бы для всех старались.

И не осталось без последствий, потому что у нас Икоркин совсем разошелся. «Мы, говорит, гостям должны смотреть в глаза, как собаки, и ждать подаяния, а это надо уничтожить. Чаевых не брать, а пусть платят со счета в кассу. И чтобы был день для отдыха и семьи и лучше обходились». Вот шпикулектная голова! «Теперь, говорит, погоди! Не за ту тянешь, оборвешь!» И тогда многие в общество приписались. Ах, какой верный человек оказался, настоящий товарищ и друг! Потому что сам все испытал и понимал все.

– Чего, – говорит, – смотреть и ждать от ветру! Мы сами должны! Кому до нас дело?

Очень верно и резко говорил. А если, говорит, сидеть, только и будешь что по шеем получать.

А тут и затосковал Черепяхин. Опасался, что заберут его в мобилизацию, как он был солдат. Часто, бывало, говаривал:

– Очень мне грустно вас покидать и помирать вдали, в пустыне... Хоть бы чем мне проявиться, а то так все околачиваюсь с проклятой трубой.

И вот, в феврале так, и говорит мне с тревогой:

– Выйдемте на чистый воздух...

Удивился я этому очень, и потом, он в последнее время стал какой-то непонятный и капризный. Вышли на улицу, как раз в воскресенье было, вот он и говорит:

– Не подумайте, что я для себя, а только может быть беда!..

И захрустел пальцами. Какая беда?

– А вот какая. Я в праздник на катке играю, и очень больно видеть. С Натальей Яковлевной офицер один все гуляет под ручку и коньки ей крепит...

Так он меня поразил.

– Это разве хорошо? Они неопытные, а он так с ней обходится, что все заметно...

И вспомнил я тут, как он мне раньше допрос делал.

– И во тьме ее сопровождает...

И начал говорить, что скандал из-за Наташки на катке был у офицера со студентом, который с ней раньше катался. И вдруг вынул газету и показал:

– Прочтите, если вру. Тогда я из оркестра убежал, чтобы Наталью Яковлевну домой увести, а то бы и она в протокол попала.

Прочел газету – верно, сказано про скандал из-за барышни.

Сейчас на квартиру – и матери открыл. И пошло тут. Та на Наташку со всякими словами, очень она раздражительная была. А та хоть бы что! Перекинула косу, заплетает и так дерзко смотрит.

– Это, – говорит, – вам кто же?.. Черепеха сообщила? – так насмешливо. – Ну и каталась! Что же тут особенного?! Это подругин брат, и подруга с нами каталась...

И так просто объяснила.

– Можете проверить!.. Только грязные людишки могут так клеветать!

А Черепяхин все слышал. Вышел из комнаты и на меня с укором посмотрел. И прямо к Наташе:

– Наталья Яковлевна, зачем? Я хотел вас защитить от неприятности... Очень испугался за вас...

И даже губы у него запрыгали. И ушел в комнатку. И Наташке стало совестно. Пошла она к нему и постучала.

– Поликарп Сидорыч, отворите! Не сержусь я!.. Что за глупости!..

Но он не отворил ей дверь. И Луша даже ее пристыдила.

– У, дура, а еще образованная! За что человека-то обидела?

И не придали мы значения этому случаю.

И вдруг все в жизни моей и перевернулось. Началась мука и скорбь.

Был день воскресный, и такой ясный, солнечный, веселый день. Еще я газету купил и стал смотреть про биржу. Оказалось, сразу я разбогател на шестьдесят рублей за день. А это так вышло.

Кирилл Саверьяныч очень посочувствовал желанию моему насчет домика и отыскал для меня средство.

– Самый хороший путь – бумаг купить на бирже... Если при счастье, можно капиталами ворочать...

И стал объяснять, но я ничего не понял.

И заворожил он меня разговором.

– Только надо через Чемоданова. Он хоть овсом торгует, но очень знает, до тонкости...

Тот нам и посоветовал.

– Теперь, – говорит, – по случаю войны заводу тыщу пушек заказали, мне один верный человек шепнул. Спешите, пока публика в неизвестности насчет пушек. Сливочки-то и слизнуть...

Кирилл Саверьяныч так значительно сказал:

– Представляется случай!..

Дня четыре я крепился, а бумаги-то на шесть рублей вверх. Злость взяла, словно у меня из кармана вынули. Взял я деньги с книжки и пошел к утешителю моему. А тот уж купил для себя и сотню нажил. Согласился за мой счет поехать в контору. Поехали.

Помещение замечательное, все медь красная и дуб мореный. Потолки стеклянные, и даже ковры, как в церкви, на столбах. И такой шелк на счетах, и все очень чисто одеты, в модных воротничках, молодые люди и очень деликатные. И когда мы сидели, прошел в мягких сапожках один кургузенький и строгий, мягко так, как кот крадется, и вдруг нам:

– Делают вам? – и строго из-под пенсне посмотрел на прилавок, где уж один нам, на косой пробор франтик, на бумажке высчитывал.

Очень заботливо обошелся. А мимо нас то и дело молодые люди с ворохами выигрышных и других билетов. Звонки звонят, кассиры так пачки в резинках и пошвыривают – необыкновенно. И барыни разодетые все деньги меняют и получают. Старичков под руки водят за деньгами слуги и охраняют. Такая вежливость...

Дали мне бумажку, взыскали семьсот тридцать рублей, а бумаг записали на меня на две тысячи. Ничего я не понял, но Кирилл Саверьяныч сказал, что так все обставлено по правилам, что нельзя бояться.

– Тут даже образованные не все понимают, а можно только на практике. У них головы-то какие! Со щучки одни щечки кушают!.. Политика финансов! И всем выгодно. Оборот капиталов!.. У нас недавно началось, а за границей все извозчики занимаются, потому там и богатство...

И за неделю я нажил сорок пять рублей, а как посмотрел в газету в воскресенье, сразу за один день на шестьдесят рублей обогатился.

И в таком веселом расположении был я в то воскресенье, что прямо всех хотелось обласкать и сказать хорошее слово. И пироги удались на славу. И только сели мы за пирог, и я рюмочку водки праздничную выпил, как раз и входит в квартиру с морозу наш новый жилец.

ХIII

Очень был здоровый мороз в тот день, а он заявился в одном пальтишке. И подумалось мне... Вот мы сыты, слава богу, и в тепле, а жилец этот с барышней совсем бедные люди. И по виду очень симпатичные были. Ему-то лет двадцать пять было, худощавый, черноватый, сурьезный по взгляду, а барышня-то совсем молоденькая, лет восемнадцати, беленькая.

В одной комнатке, а по разным паспортам жили. Их, конечно, дело. Он книги продавал от магазинов, образцы разносил, а она на курсах училась. И имущества у них всего было ящик с книжками да подушки с одеялами. Так что мы им поставили диванчик и кровать. И Колюшка с ними очень быстро обзнакомился через Васикова своего.

Тихие были жильцы. Он-то часто в разъездах бывал с книжками, а барышня с утра уходила и до ночи. И так с ними Колюшка за четыре месяца сдружился, особенно с жиличкой, что Луша стала опасаться за его поведение. Долго ли до греха! Она очень свободная и красивая, и мой-то недурен, а жилец в отлучках, тут-то и бывает. И даже Николаем его стала звать, и Луша раз слышала, как та с ним чуть не на «ты» стала. А то заберет его и уйдет до трех ночи. А жилец как слепой. Мало того! Раз отпустил ее с ним дня на два куда-то – проводить к тетке, в другой город.

Намекнул я насчет всего этого Колюшке, а он хоть бы слово.

– Перед Богом, – говорю, – ответишь, людей можешь расстроить...

Никаких разговоров и даже улыбается. А Луша так из себя и выходит:

– Прелюбодеяние у них может быть... Да еще на моей квартире! Чуть что – выгоню!..

Но только та очень умела к себе расположить и ласковая была со всеми страшно. И к Луше так и ластилась:

– Милая вы моя старушка-хлопотушка! У меня мама такая же...

И давай ее целовать. А Луша и растает. То, бывало, на нее зуб точит за Колюшку, а то Наташку ею корить начнет:

– Вот ты какая дылда бесчувственная к матери, а вот жиличка-то лучше тебя меня уважает, хоть и образованная...

Зато от жильца мы слова не слыхали: сумрачный и дикий, и как дома, все по комнатке из угла в угол ходит. Так вот, пришел он с морозу, и видно, что продрог. Смотрю я, как пирог так душисто дымится, и повернулось у меня на сердце. Вот, думаю, живут люди, обедают не каждый день, хотя и очень образованные, и пирожка-то у них никогда не бывает. И сказал я Луше:

– Вот что. Позовем жильцов, пусть пирожка поедят... Им в охотку.

И она одобрила:

– Ну что ж... Все-таки они образованные люди и всегда аккуратно платят...

Пошел я к ним и пригласил. А Колюшка, конечно, уж у них: как квартиру снял. И очень он, видно, удивился, но потом и сам стал просить. Жилец-то постеснялся было, смотрит на свою, а та, Раиса-то Сергевна, меня за обе руки взяла и так ласково:

– Оченно вами благодарны, и мы вас так любим. Ваш Николай нам так много про вас хорошего наказыал...

И так мне их тут жалко стало. Как сиротинки сидят в комнатке одной. И так все прилично, и книжечки, и портретики по стенке, где барышня спала. И картинка Божьей Матери, как она над младенцем плачет.

И стали кушать пирог, но больше молча, только барышня еще имела со мной разговор про посторонние предметы. И за Колюшкой я таки хорошо заприметил, что все на нее посматривал, и чашку ей подаст, и все... А тот, жилец-то, все стеснялся. И одежда на нем потерта была сильно, а тут все-таки Наташка... Но ели с аппетитом. Только раз и сказал жилец:

– Прекрасный пирог. У мамыши я такие пироги ел...

И Раиса Сергевна даже вздохнула и сказала, что очень любила лепешки на сметане. А Луша им еще по куску. Очень ей пришло, что похвалили.

И Черепяхин был приглашен, но только все конфузился женского пола. Нескладный он был, лапы красные и в глазах спирт, потому что он стал очень сильно зашибать по случаю тревоги. И тут всё рюмку за рюмкой. И такая в нем смелость дерзкая объявилась, а может, и с конфузу, но только даже приглашения не дожидался, а сам все наливал. Луша мне все

мигала, но я же не мог его остановить. Ну он духу и набирался. А Наташка его все на смех. Вот, дескать, у нас Черепахин может кочерги гнуть, и от разбойников произошел, и другое там. А тот хлоп и хлоп. Даже все удивились, что так много пьет и без закуски. И как нахлопался, вдруг и говорит жильцу:

– Скажите, господин, от чего в человеке бывает смертельная тоска?

Очень удивил разговором. А Наташка как прыснет!

Луша ей пальцем пригрозила, а жилец только пожал плечами и улыбнулся. «Очень трудно, говорит, отвечать».

– А скажите, – говорит, – вот что. Человек должен стремиться или на все без внимания? И как может быть жизнь на земле, если человек не должен стремиться! Должны быть планы, верно?

Такой непонятный разговор повел, что нельзя понять. И жилец что-то стал объяснять, но он опять свое:

– Ежели человек какой скучает в пустом занятии, как ему надо стремиться? Если всё насмешки и пустое занятие? Ответьте, как образованные люди знают...

И стал лоб растирать, потому что у него в глазах как кровь и, должно быть, кружилась голова. А тут, как по телефону, и заявляется к пирогу Кирилл Саверьяныч. Так и рассыпался перед жильцами:

– Очень приятно с образованными людьми и все это самое...

И пошел говорить и себя показывать, потому что очень много знал из книг. И про законы, и про жизнь, и про машинное производство. И стал укорять про непорядки высших лиц и ругать всех за бунты. А жилец хоть бы слово. И Колюшка ни гугу. А тот так соловьем и заливался. И так ему пришло по вкусу, что против него никто не может, что даже налил себе рюмку и стал просить жильца выпить и очень удивился, что тот не пьет.

– Очень, – говорит, – трогательно видеть такое образование и мудрость. Когда наука дойдет до пределов, все изменится. А то у нас очень много непонимающих людей...

А жилец улыбнулся и сказал:

– Все идет своим порядком.

– Очень верно изволили сказать. – Такой вежливый стал в разговоре. – И позвольте спросить, вы не на государственной службе изволите состоять?

А тут вдруг Черепахин и вышел из молчаливого состояния. Расправил плечи и как в воздух:

– Не за ту тянешь, оборвешь!

Очень всех развеселил, а Кирилл Саверьяныч на себя не оборотил и очень хитро намекнул:

– А вы не тяните и не оборвете... все это самое... – и по рюмочке позвенел пальцем.

Но тут жильцы поднялись, и Колюшка с ними, и ушли в комнату. А Кирилл Саверьяныч и говорит:

– Очень вы должны быть рады, что такой у вас жилец. Он очень образованный и может хорошо повлиять. И я замечаю влияние, но... – и тут мне на ухо: – вы посматривайте!..

– А что?

– Насчет барышни... Я кое-что замечаю... Даже... у них близкие взгляды...

Сказал я, что и меня беспокоит.

– Так он вам и экзамена не сдаст. Увидите! Теперь такое время, что даже могут жить втроем. Это как у французов, я это хорошо понимаю. Мне один француз из винного магазина, которого я брею, все подробно объяснил, как у них происходит, очень свободно... От этого-то и безнравственность и смуты... И может совсем прекратиться население, как во Франции. Это нужно понимать!

А тут вдруг телеграмму! Так мы все перепугались. А это жильцу. Жилец мигом собрался и ушел с книгами. А тут вскорости и Колюшка с жиличкой пошли. Смотрим в окно, как они пошли, а Кирилл Саверьяныч мне:

– И вдруг тут будет роман! Не сдаст он тогда экзамена, помяните мое слово!.. Лучше скорей примите меры.

Потолковали мы с ним про жизнь, и Черепяхин тут сидел, дремал. И увидел тут меня Кирилл Саверьяныч:

– А придется, должно, дело прикрыть... – и стал сурьезный.

– А что такое, почему?

– Невозможно! Мастерилки скоро по миру пустят. Какой теперь народ-то стал – зуб за зуб! У него штаны одни да фальшивая цепочка без часов болтается, а за горло хватает! Чтoб по восьми часов работать и прибавку! а? Наскандалили, два убора спалили и ушли гулять... И вот в праздник заведение запер...

А тут Черепяхин голову поднял и бац:

– А вы машинами!

– Чего-с?

– Ничего-с. Заведите такие машины, как рассказывали, и не тревожьте людей. Или чтобы вам городских прислали стричь и брить...

А Кирилл Саверьяныч потряс пальцем в его направлении и говорит:

– Вот оно, необразование-то наше!

– Ваш карман, – говорит, – очень образованный.

Но Кирилл Саверьяныч не обратил внимания и стал говорить рассказ про желудок и члены, которые отказались работать на него, и тогда наступила гибель всех.

– Все, – говорит, – производства прекратятся, тогда что будет?

А Черепяхин ему:

– Головомойка!.. – и кулаком по столу.

А тот ему наотрез:

– Я не могу с необразованным человеком рассуждать. В вас, во-первых, спирт, а во-вторых – необразование. Тут надо в суть смотреть, а это не в трубу дуть!

И вдруг, смотрю в окно – подъезжает извозчик и на нем Колюшка. Что такое? Входит и говорит, что книги надо отправить, потому что жильцы квартиру покидают, едут в Воронеж. У барышни дядя помирает, и они сейчас прямо на вокзал, чтобы не опоздать, а он за багажом приехал.

Весь их скарб забрал и умчал. Еще Луша сказала:

– Не с места ли его прогнали... В лице даже переменился...

Что же делать!.. Велел я Наташе записку про комнату писать на ворота. Написала она записку, живо это оделась, перед зеркалом повертелась и шмыг. Куда? В картинную галерею.

А уж мне пора в ресторан – и так запоздал. Вышли мы вместе с Кириллом Саверьянычем и только повернули за угол, он мне и показывает пальцем:

– Глядите-ка, а ведь это ваша Наташа там...

Пригляделся я и вижу – в конце переулкa идет моя девчонка под ручку с офицером. Так меня и ударило. Она, она... у ней беленькая эта самая буа из зайца. Я за ней. А они на извозчика сели и поехали. Добежал до угла, спрашиваю – мальчишка стоял – куда рядили?

– В театры...

А в какой – неизвестно. Кирилл Саверьяныч стал меня успокаивать:

– Это вы так не оставляйте, тут может очень сурьезно быть...

Побежал на квартиру, сказал Луше, а та – ах-ах... А Кирилл Саверьяныч еще накаливает:

– Это вы ее распустили... У меня тоже Варвара в голову забрала – хочу и хочу на курсы, так я ей показал курсы!.. И теперь очень хорошо за бухгалтером живет...

А Луша бить себя в грудь.

– Все-то ей косы оборву!.. – И на меня: – Ты все, ты! Ты при них про пакости ваши ресторанные рассказываешь...

А кто ей ленточки да юбочки покупал да кружева разные? А утешитель-то мой на ухо строчит:

– Опасно, ежели с офицером... У них особые правила для брака.

И Черепахин еще тут ко мне, чуть не плачет:

– Я вам говорил!.. Берегите!..

А Кирилл Саверьяныч так даже с торжеством:

– А может, они и не в театр? Вон в газетах было, как в номерах за шампанским отравились после всего... Драма может быть...

Вот тогда мне в первый раз ударило в голову, так все и зазвенело и завертелось... Скоро отошло. А Луша уж шубу надела, куда-то бежать с Черепахиным, отыскивать. Но тут Кирилл Саверьяныч рассудил:

– Все равно, если худое что, уж невозможно остановить. Положитесь на волю Творца. А если они в театр, так он должен ее довести до места, откуда принял. Это всегда по-вежливому делается. Вот и надо их сторожить и указать на неприличие...

Так и решили. И Черепахин вызвался сторожить. И все мы к трем часам вышли и ходили по окружности, измерзли. И к четверем Поликарп Сидорыч усмотрел с конца переулка и рукой махнул мне. Вижу, слезли они с извозчика и офицер ей руку жмет, а она так и жеманничает и с жоржеткой играет перед его носом. Я сейчас выступил и говорю:

– Это что такое?

Так и села.

– До свидания... – говорит.

И пошла. А тот на меня так строго:

– Позвольте!..

– Нечего, – говорю, – позволять, а вам стыдно! Порядочные люди с родителями знакомятся, если что, а не из-за угла! И прошу вас оставить мою дочь в покое!

Повернулся и пошел, а он за мной. Смотрю, и Черепахин тут, поблизости, у фонаря стоит. А офицер в волнении мне сзади:

– Виноват, позвольте... Я требую объяснения... Вы должны...

Я нуль внимания, иду к квартире. Тогда он настойчиво уж:

– Позвольте... моя честь!.. Я должен объясниться!

И публика стала останавливаться, а он мне уж тихо, но с дрожью:

– Я требую на пару слов! Я не могу на улице... Или я вас ударю!

Обернулся я тут к нему и говорю:

– Вы что же, скандалу хотите? Вы еще так поступаете и мне еще грозите? Ну, ударьте! Ну?

А кровь во мне так вот и бьет. Только бы он меня ударил! Я еще никого не бивал, но, думаю, мог бы при своей комплекции это дело сделать не хуже другого. А Черепахин совсем близко и руки в карман засунул, трепещет.

– Прошу двух слов, наконец! Вот на бульвар...

А мы уж и квартиру прошли, и как раз тут бульвар. Сели.

– Говорите, а потом я вам скажу! – говорю ему.

– Вот что... Вы ошиблись... Это ваша дочь?

– Дочь, и я не позволю безобразия допускать! Вы не имеете права...

А он мне:

– Виноват... вы всё узнаете... Я познакомился на катке, и мы познакомились... Говорю, как офицер... тут ничего позорного для вашей дочери нет... Я хотел с домом познакомиться...

– Вы, позвольте узнать, – спрашиваю, – подругин брат?

Тут он завертелся:

– Да... то есть нет... Но я хотел с вами познакомиться, только не было случая...

Так я тут осерчал! А Черепяхин наискосок присел, меня охраняет. И говорю:

– У вас случая не было? Так вы, – говорю, – меня можете каждый день в ресторане видеть, где я таким вот, как вы, господам кушанья подаю. Не рука вам будет-с знакомиться!..

А он так издалека на меня посмотрел и поднялся.

– А-а... Вот как...

– Да, – говорю, – вот как! А если вы еще раз посмеете к ней подойти, у нас с вами другой разговор будет!

А он мне гордо так, с высоты:

– Не забываете, с кем говорите! Я вас в участок могу отправить!

– Пойдемте, – говорю. – Желаете?

А он мне вдруг:

– Нахал!.. – И пошел большими шагами, а я ему вослед:

– Так, помните, господин!

Но он как не слышал. А меня Черепяхин за руку, как клещами.

– Хотите, я сейчас с ним скандал? Я ему покажу!..

Не допустил я его. А как пришел на квартиру – содом, чистый содом! Луша стоит с иконой и кричит не в себе:

– Перед Казанской клянись! Клянись, стерва ты эдакая! Клянись, что не путалась ты, поганка, шлюха!

А та вся встрепанная, плачет, и крестится, и дрожит. И покатила в истерике.

– Замучили меня, истерзали!

А кто ее терзал? Ей же все готовое, все... А мать опять к ней:

– Клянись своей смертью, клянись! Ногами тебя затопчу! Славили чтобы нас за тебя? Кому ты нужна, трепаная?

Но тогда я это безобразие устранил. Лушу в комнату запер и Наташке все объяснил. Утихла она и ко мне на шею кинулась.

– Папаша, я не знала... Он мне понравился...

А Луша за дверью кричит:

– Я тебе понравлюсь! Я тебе, дармоедке, все косы оборву! На цепь тебя закую!..

А тут вскорости появился Колюшка. Мать к нему с жалобами:

– Порадуйся, как твоя сестра с офицерами на извозчиках катается...

Не понял он ничего, побелел только. Но как все узнал, увел Наташу в комнату в жильцовскую и стал с ней говорить. И потом свел нас всех и помирил. И такой он стал беспокойный и тревожный и не обедал совсем. Спросил его, – что же, не вернутся? стало быть, можно и сдавать? А он так резко:

– Сдавайте!..

И задумался. А Луша мне:

– Это он по той скучает. И хорошо, что уехали... А лучше бы совсем не приезжали...

XIV

И был у нас тот вечер как на похоронах. Наташка за ширмочки забила. Колюшка в жильцовской засел, а Черепяхин на каток с трубой пошел, и скрипач ушел в свой кинематограф. И в ресторан я не пошел после такого расстройства. Прилегли мы с Лушей отдохнуть. И уж часов семь было, всполошила меня Луша:

– Дым у нас в квартире, пожар!..

Вскочил я – полна квартира дыма, лампы не видать. В жильцовскую комнату кинулся, а там Колюшка мечется.

– Лампу, – говорит, – оправлял и спичку в угол бросил, на бумаги. Я в печку сгреб, а трубу забыл открыть.

И вдруг звонок. Колюшка отпираться кинулся, пошептался с кем-то в темноте, схватил пальто и – марш.

Что такое? Не пойму ничего, как представление какое весь день. А Луша мне все свое:

– Что-то они это путают, сдастся мне... Может, она с тем-то разошлась, а для отводу с квартиры перебралась...

Плетет неведомо что. Через полчаса Колюшка появился.

– Что, – говорю, – у тебя за маскарад?

Васиков будто приходил на вечер звать, но он только его проводил и отказался. И такая меня тоска забрала, согнал я всех своих и Наташку из темноты вытащил.

– Что вы, – говорю, – как чумовые какие по норам сидите?

Послал за орехами, сели в короли играть, силой заставил, а то уныние. Только и радостного, что бумаги прибыль дали. Нарочно Наташку в короли провел – нет! Надутые все и взятки пропускают. А Луша Колюшку пытать про жиличку:

– Без жилички своей скучаешь?... Что смотришь-то!

Шваркнул он карты и ушел. И опять все расклеилось. И ужинать не стал. А как стал я спать ложиться, подходит и говорит:

– Вы, пожалуйста, никому не рассказывайте, что я жильцовское имущество возил.

– Почему такое – не говорить?

– А потому, что сейчас очень полиция следит и не позволяет распространять хорошие сочинения... Могут быть неприятности... И вообще лучше ничего не говорите.

– Да кому мне говорить-то? Очень кому нужно!

– Ну это другое дело... А я вас предупреждаю.

Так меня запутал, что ничего я не понял. А вскорости и Черепяхин заявляется с катка. Очень бледный и сильно покачнулся. Да еще бутылку несет.

– Прощайте, – говорит, – ласковые взоры!

Стал спрашивать, что такое, – оказывается, околоточный на катке сказал, что завтра мобилизация его сроку и ночью призовут. В типографии уж печатают оповещение.

– И позвольте, – говорит, – мне напоследок выпить за ваше здоровье и набраться духу...

– Ну, набирайтесь, – говорю, – но чтобы только смирно...

Выпил и я с ним рюмку, а он так и спешит. И вскорости так себя направил, что стали у него глаза в разные стороны смотреть и кровью налились. И вдруг разворачивает бумажку и показывает:

– Вот и освобождение от всего... Освободительный порошок! Если в водке, то очень скоро подействует...

Трахнул я по бумажке, и весь его порошок – фук! И говорю:

– Вы с ума сходите! Помимо вас нам неприятность... То Кривой от нас удавился, теперь вы ознаменуется! Да что мы, ироды какие, что ли?

И принялся он плакать.

– Все, – говорит, – пропало теперь, Яков Софроныч... Что вы со мной сделали!

– Да с чего вы, с чего? – спрашиваю. – Еще молодой человек, сильный...

А он взял себя за голову и качается...

– Нет душе моей покою, и опротивела мне жизнь... Хоть бы убить кого! Хоть бы раздробить мне что!

Схватил трубу свою, но я вырвал.

– Не скандальте, прошу вас! – говорю. – Наталья Яковлевна спит...

Хоть этим его унять. Притих.

– Да, – говорит, – Наталья Яковлевна... Яков Софроныч! – и так с чувством произнес и в грудь себя кулаком. – Очень во мне сил много, а нет мне ходу никакого... Сдохнуть бы...

– Жизнь, – говорю, – от Господа нам дана, и надо ее прожить...

– Наплевать мне на жизнь! Что я от нее видел? Был я на хрустальном заводе... Папаша мой всю грудь себе отдул на бутылках, матери не знал... Катюшка... от жизни отравилась... А меня на музыку... Сволочь, сукин сын! Зачем он меня на музыку распустил? Подлец!

Стал я его успокаивать. Ничего не действует.

– Грамоте не выучили, а у меня в башке каша... Я, может, знаменитым человеком стал бы, очень во мне сил много!.. А меня вот на это дерьмо пустили. – Это он про трубу-то. – Хозяин, – выругался он очень неприлично, – сирот мальчишек согнал. Я, – говорит, – им всем кусок хлеба дам и учрежду оркестр духовой... За каждую ноту драли! В Питер возил нас, генералам хвастал... Вот, говорит, что я из дураков сделал... Все с куском хлеба... А? Идите и играйте на воздухе и помните заботы!.. А! Старый черт! А у самого сто двадцать миллионов!.. Дедки моего нет... Застегали на каторге... Он им головы рвал напрочь...

Зубами закрипел и глаза вытарашил. Стал я его уговаривать – ничего.

– А теперь... в мобилизацию... защищать отечество... Какое отечество? – И опять в трубу ногой...

И потом все на голову жаловался. Простился я с ним и Богом его пострадал, чтобы и не думал. И пошел спать... И вот тут началось все...

XV

Надо полагать, что третий час шел... Звонок. Луша меня разбудила.

– Звонок к нам, Яков Софроныч...

И сам я услышал: резко так. А у нас простой колокольчик был – дребезжалка. Что такое? Подбежал, в чем был, к двери. И Колюшка вскочил, брюки натягивает. И Черепяхин выбежал, бубнит:

– За мной... на мобилизацию...

– Кто такой? – спрашиваю.

– Отпирайте! Телеграмма! – так решительно.

Открыл, а там целая толпа. Полиция... Вошли, и враз с черного ходу стук, и один из них сам кинулся открывать. И оттуда вошли. Один чиновник с кокардой, пристав наш еще, околоточный, и еще двое в пальто, и еще дворник.

– Вы хозяин? – чиновник меня спросил.

Сказал я, а у меня зубы – ту-ту-ту. И ничего сообразить не могу. Стали у дверей, пристав у стола уселся, лампу приказали засветить.

– Я должен произвести у вас обыск... Где ваши жильцы? – Это все тот, который был в кокарде, а пристав только у стола сидел и пальцами барабанил.

– Жильцы, – говорю, – уехали сегодня...

– Как так уехали? Куда? – И на пристава посмотрел.

А пристав ему:

– Удивительно...

А уж другие по квартире рассыпались, и Луша, слышу, кричит:

– Уйдите, безобразники! У меня дочь раздета...

– Потрудитесь одеться... Где комната жильцов?

А тут Черепяхин увидал, что не за ним, стоит с папиросой и цепляется, чтобы себя показать:

– Ночная тревога, а неприятеля нет!

А главный ему:

– Ты что за человек? Кто это такой? – мне-то.

А Черепяхин гордо так:

– Обнаковенный жилец, на двух ногах!

– Обыскать его!

Сейчас его – царап! Шарить по карманам. Шустро так, как облизали! Нет ничего. А тот на смех:

– В кальсонах не обозрели! Там у меня пара блох беспачпортных!..

Режет им и меня подбодрил. Я и говорю главному:

– Вы, ваше благородие, напрасно так... У меня ничего такого и в мыслях нет...

А уж там жильцовскую комнату глядят; в отдушники, в печку. Пепел разворотили. «Жгли!» – говорят. И я им сказал, что сам весь хлам после жильцов сжег, как всегда. И тут пристав им сказал в защиту мою:

– Я его знаю хорошо... Спокойный обыватель, в ресторане лакей...

А тут Колюшку на допрос: с жильцами знаком? что знает? куда уехали? А во всех комнатах шорох идет такой... Луша с ними зуб на зуб – даже я удивился. И Наташка, слышу, визжит:

– Ах, не трогайте меня!

Колюшка шмыг к ней, и главный побежал. А Наташка стоит в ночной кофточке, руками прикрывается, и в одном башмаке. Постелька ее раскрыта, и тюфяк заворочен. И Черепяхин тут:

– Не имеете права! Это безобразие!..

И Колюшка, и Луша крик подняли. И я сказал:

– Тут девица, и так нельзя поступать...

А главный мне свое:

– Не кричите, а отвечайте на вопросы. Не в игрушки мы играем.

И пошел меня донимать. Когда уехали, да кто ходил, да то да се...

И тут в столовую целую охапку книг и бумаг Колюшкиных принесли и вывалили. Смотрели-смотрели и цоп – письмо. Почитал и мне:

– Это что значит?

Колюшка посмотрел и говорит, что это был жилец у нас, Кривой, который удавился. И объяснил про письмо директору. Забрал он письма, – разберем про вашего Кривого. Альбом был у Луши с карточками. Смотреть. Кто такой? А этот? Потом и вдруг уж к Колюшке:

– А это кто такой?

А тот и не знает. А это повар один, приятель мой, и уж помер. Сказал я, кто такой, а тот не верит.

– Это мы разберем...

И забрал. И еще одного парнишку взял, теперь метрдотель в «Хуторке» и семейный человек. Даже удивительно, зачем они понадобились. Этого-то все они разглядывали и что-то мекали. Часа три так возились. Потом главный и вынимает из портфеля бумажку и показывает Колюшке. А верхушку рукой прикрывает:

– А это не вы писали?

Посмотрел Колюшка, сморщился и говорит:

– Что-то не помню... Как будто моя рука...

И читает ему главный:

– «...перешлю готовое...» Это что, «готовое»?

– А-а... Это образцы изданий картинной галереи... Я, – говорит, – для жильца иногда забирал товар и посылал ему по адресу, когда он в город ездил.

А тот так усмехнулся и говорит:

– Я вас арестую.

– Как угодно, – говорит.

Тут уж я вступился.

– За что же вы его? Это ваш произвол!

И Луша на него:

– Не имеете права! Я к губернатору пойду! У нас лакей у губернатора служит, двоюродный брат...

А тот сейчас:

– Объясните свои слова. Какой лакей, у какого губернатора?

А та врет и врет.

– Не хочу объяснять! – и все.

Тогда он ей свое:

– Ну так я вас арестую для объяснения...

Так она и села. И тут я вступился. Говорю, что она с испугу, а у нас никакого брата нет у губернатора. Наташка чуть не в истерику, а Колюшка так глазами и сверкает.

– Не запугивайте мать! – кричит.

Тот ему пригрозил. Черепяхин тоже про произвол – отстранили.

Осмотреть чердак, чуланы! Побежали там какие... Сундуки осмотреть!

И пошло навыворот. Все перетряхнули: косыночки, шали там, парадное какое для Наташки. За иконами в божнице глядели. Луша тут заступаться, но ей очень вежливо сказали, что они аккуратны и сами православные. И велели Колюшке одеваться. Луша в голос, но тут сам пристав – он благородно себя держал, сидел у столика и пальцами барабанил – успокоил ее:

– Если ничего нет, подержат и выпустят. Не беспокойтесь...

А Колюшка все молчал, сжался. А внутри у него, я-то его хорошо знаю, кипит, конечно. И на его поведение даже главный ему сказал:

– Вы все объясните, и мы вас не задержим.

– Нечего, – говорит, – мне объяснять, потому что я ничего не знаю. Берите.

А тут еще скрипач вернулся поздно с танцевального вечера. Сейчас его захватили, карманы вывернули, там грушка и конфетки с бала. А Колюшка уж оделся. Простились мы с ним. Лушу уж силой оторвали. Очень тяжело было. И повели его с городовыми. И я за ними выбежал. И на дворе полиция. Окружили и повели. Посажались на извозчиков... И крикнул я ему тогда:

– Колюшка, прощай!

Не слышал он. Повезли... Побежал я, упал на углу, поскользнулся. Ночь. И ни души, одни фонари. Стал я так на уголку, а мне дворник сказал:

– Ступай, ступай... Замерзнешь...

И не помню, как я в квартиру влез. Луша как каменная сидит среди хаоса, а Черепяхин ей голову из ковшу примачивает. И калит всех на все корки.

– А-а!.. – кричит. – Сами кобели, да еще собак завели!

Очень сильно бушевал. И всех нас очень скрипач утешил. Совсем он слабенький был и сильно кашлял.

– Иисус Христос тоже в темнице сидел...

А Черепяхин все геройствовал:

– Я только не могу вас оставить в горе, а то бы я их разворотил!

И потом, когда уже мы всё в сундуки запихнули и мало-мальски в порядок привели, легли спать; но разве уснешь тут, когда на груди камень. А Луша все плакала. И Наташа плакала за ширмочками. И Казанская при лампадке смотрела на нас, на наше житье беспомощное...

Ах, как горько было!.. И вот какие оказались жильцы... Потом-то я все узнал. А тогда я все проклял, все, и доброе отношение к людям. А что люди? Скольким я послужил, и как послужил! А кто мне послужил? Много я их видел, и много прошло их мимо меня через ресто-

раны... И без последствий. И всюду без всяких последствий для меня. От господ я ничего хорошего не видал. У них, конечно, свои дела, но хоть бы ласковое слово когда... И сколько было страхов и горя... Слез сколько было пролито по уголкам, как у нас с Лушей... И изо дня в день у нас в ресторане и светло, и тепло было, и всегда неизменно оркестр румынский играл, и господа кушали под музыку и были веселые и довольные... И я служил в тоске и под музыку. До меня ли им, что у меня на сердце и внутри? Ибо все было у них и не о чем им было печалиться. Потому что такое устройство жизни...

XVI

Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать и понимать. А таких людей я почти что не видал. Вокруг не видал, с которыми имел дело. Потому что теперь нет святых, которые были раньше, как написано в священных книгах. Теперь пошел народ другого фасона и больше склонен, как бы иметь в кармане лишние пять рублей. И уж потом я узнал, что есть еще люди, которых не видно вокруг и которые проникают всё... Через собственную скорбь познал и не могу поносить, как другие. Совесть мне этого не позволяет. И нет у них ничего, и голы они, как я, если еще не хуже... Господь все видит и всему положит суд свой.

Не спал я тогда всю ночь и все думал, к кому прибегнуть. И перебрал в уме всех гостей могущественных, которые бывали в нашем ресторане. И потом побывал я у них. И одни совсем меня не допустили, а другие сказали, что это к ним не относится и они ничего не могут. У самого председателя суда был, и он только развел руками и тоже сказал, что это не его дело. А его очень уважали всегда, и всегда все здоровались с ним у нас. И никто никакого внимания. Только поежаты и поскорей бы отговориться.

И повидал же я за это время! И почему такой народ пошел жестокий? И в участке был, и в отделениях разных был... И никто ничего не знает. Взяли, и никто не знает! И в тюрьме тоже – не знаем, получите уведомление. К батюшке, отцу духовному, ходил, а он покачал головой и говорит – зачем так воспитали? Как воспитали? Его училище воспитало, и не воспитало, а выгнало! А у меня-то разве он плохое что видел? И разве он был такой уж плохой?..

Дней пять не был в ресторане, так я расстроился. Являюсь – почему пропадал? Не стал я рассказывать, потому что было мне стыдно. Заболел – и все. И тогда Икоркин меня предупредил еще:

– Имейте, – говорит, – в виду, что у нас в уставе пункт есть для болезни. Могут выдавать из сбережений, но только у нашего общества сейчас пока капиталов нет...

Так мне было тяжело, а он с таким вниманием ко мне, что я все ему объяснил для облегчения. А он вдруг и говорит:

– Вы должны гордиться! Что вы?!

И руку мне пожал, очень чувствительный человек. Чем же мне гордиться?

А он и показал пальцем на зал.

– Вон они сидят, провизию истребляют... Они нам с вами помогут чем? Я теперь все очень хорошо понимаю, что нужно. И вы не беспокойтесь. Я даже очень за вас рад!..

Такой горячий человек. И как начнет в тон говорить, всем на «вы». А раньше, бывало, даже ругался со мной из-за столиков.

– А не похлопотать ли мне, – спрашиваю, – у Штрасса? Очень у него большое знакомство...

– У сволочи-то этой! Он в наше общество втереться хотел, но у нас его очень хорошо знают. И потом вот что я вам скажу... Никому не говорите! У нас циркуляр есть... Вас уволить могут из ресторана.

– Это за что же?

– А неблагонадежный вы...

– Да какой же я неблагонадежный?

– А они будут рассуждать? У вас сына забрали – значит, и того... За лиц бояться...

И подмигнул.

– Мы кушанье-то подаем!..

А через неделю так вызвали меня в отделение. Так я обрадовался. Но только мне опять ничего не сказали, а стали расспрашивать про жильцов. А что я знал? И угрожали даже, что вышлют из города, но я ничего не мог объяснить.

И вот когда я совсем пришел в отчаяние и уже не мог аккуратно исполнять свое дело в ресторане, вызывают вдруг меня на кухню. А ко мне мальчишка рассыльный подходит и спрашивает:

– Вы будете Скороходов, который в ресторане лакей?

Отдал мне записку и ушел. А это от Колюшки. Как уж он переслал мне – не знаю. И так нацарапано, что насилу разобрал. Написал, чтобы я не беспокоился и что скоро должны выпустить, потому что нет против ничего, и чтобы мамашу и Наташечку поцеловал. Только и всего, но это меня возрадовало.

И потом никаких известий. И к Кириллу Саверьянычу я ходил, но тут меня постигло отношение самое неправильное. Вместо утешения я от него получил упрек и ропот.

– Я, – говорит, – все предвидел, так по-моему и вышло! Вышло по-моему!

Даже пальцем себя в грудь ткнул и очень торжествовал, что по его вышло.

– Мне даже странно, – говорит, – что вы ко мне с таким делом приходите. Какой я вам могу совет подать? Я человек торговый, коммерческий и не могу в такие дела мешаться... Этого я от вас не ожидал!

И в таких мытарствах прожил я с месяц. И раз утречком, когда я вышел из ворот и пошел в ресторан, нагнал меня незнакомый человек.

– Зайдемте скорей в пивную! – говорит. – Я вам могу помочь...

Тревожно так, как боится.

– Скорей, скорей, а то меня могут увидеть...

И побежал вперед, а рукой сзади как манит. Очень прилично одет, и вежливый тон. Как толкнуло меня за ним! Завернул он за уголок и показал мне на пивную. Вошел я и спросил пару пива, но он наотрез:

– Я вас сам угошу... – говорит. – Вашего Николая я знаю по партии, и я сам пострадал. И мне поручили вам помочь...

А сам так резко смотрит, как спрашивает глазами.

– Я, – говорит, – должен скрываться от властей, но должен вам помочь. Только мне нужно прибежище и пачпорт. Дайте мне вид на жительство, если у вас есть какой...

Но я сказал, откуда у меня пачпорт, когда у каждого человека только один пачпорт, а без пачпорта я его не могу держать в квартире.

– Тогда, – говорит, – скажите, куда жилец, Сергей Михайлыч, уехал, а то я их из виду потерял, сидевши в тюрьме... Тогда мы уж выпутаем вашего Николая...

И тут я ему ничего не мог сказать. И он стал тогда жаловаться на свою горькую жизнь. И я ему сказал про свое горе, что вот Николай экзамен должен сдавать, а теперь ни за что сидит из-за жильцов.

– Да, – говорит, – я и сам из-за товарищей погиб...

Пригорюнился он тут, а потом и говорит с печалью:

– Значит, других средств нет... – И схватил меня за руку. – Вот что... Идемте сейчас в отделение и объявимся... Единственный путь... Черт с ним! Не могу я больше терпеть! Скажем все, что знаем, и разъясним... И нам будет прощение... Я места себе не найду!.. И тогда вашего

сына освободят и мне пачпорт выдадут... А то мне одному страшно идти... И так я хорошо раньше жил!.. И ваш сын может иметь такую судьбу ужасную, как я. Идемте!..

И тогда я сказал ему, что все уж на допросе рассказал, что знал, и вот не освобождают.

– Ну, значит, плохо дело... Значит, ничем я не могу вам помочь.

И ушел. И даже за пиво не заплатил.

И так-то у меня внутри все оборвали, а после этого разговора стало совсем темно. А в заключение всего постиг меня удар с деньгами. Не до них было все это время, и вдруг получаю заказное письмо из той конторы. Требуют с меня полтора рубля добавки. Что тут делать? К Кириллу Саверьянычу... А он меня дураком назвал.

– Вольно тебе было, – говорит, – дожидаться вешнего снегу! Я свои три недели как продал и двести рублей нажил.

– Да что же вы мне, – говорю, – не сказали?

– А как я мог пойти, если за твоей квартирой теперь наблюдение? Я себя не могу ронять.

Тогда я сказал ему с горечью, что так может поступать только необразованный и бесчувственный человек. Ему стало неприятно, и он посоветовал мне скорей идти и продать, чтобы не погибнуть. И я тогда же продал свои бумаги и понес убытку сто восемьдесят рублей.

Вот тебе и домик мой... Какой там домик!..

XVII

Прошло так месяца два, и Пасха как прошла – не заметили. Наташа мне и заявляет:

– Экзамен сдам и поступлю в магазин в кассирши. У подруги дядя там управляющий, у Бут и Брота, и мне обещал...

Что же, думаю, это очень хорошо. А ведь теперь и мужчины-то образованные даже в кондукторах на трамвае за тридцать рублей служат. А ей место на сорок рублей выходило. Будет билетки выдавать. Училась – вот и награда. И все-таки лучше, чем на телефон идти. А теперь даже для телефона нужен диплом. Очень тесно стало.

– И вас освобожу, – говорит, – от забот, буду платить вам пятнадцать рублей за стол и квартиру, и сама вздохну...

А Луша тут ей и скажи:

– Значит, нам в благодарность... Пятнадцать рублей мы только и стоим...

Такая стала свободная.

– Надоело мне оборванкой ходить! Мне тоже жить хочется... Теперь все так смотрят... Из-за вас я должна себя стеснять?

И ни одной-то книжки не прочла, а все ленточки да хи-хи да ха-ха...

– Пока молода-то я, и пожить...

И все-то перед зеркалом вертелась и про свою красоту. Хорошенькая я и хорошенькая... Все ей так говорили, ну и набила в голову.

И с матерью у ней был очень горячий разговор, даже сцепились они. И Наташка-то даже на матери кофту разорвала со злости, что та ее уродом назвала. Ну я тогда ей и показал: запела она Лазаря. Так я ее оттрепал за косу, прости меня Господи, так оттрепал в расстройстве... Так с матерью обращаться, да еще образованная!.. А она такая упрямая, шельма, еще угрожать:

– Я и уйти могу от вас! Стану на ноги и по-своему буду жить!..

Это уж ее в гимназии испортили... Там у них больше дочери купцов учились – в такую гимназию ее тетка-портниха определила по знакомству, – вот она и взяла с них пример. Вот и наряды-то... Тем-то пустяк – швырнули на тряпки сто-двести рублей, ну и эта за ними свой грош врастяжку, чтобы хуже не быть.

А соблазну-то сколько! Какие магазины пошли с выставками! Как в свободный денек пойдешь если с Наташкой, у каждого стекла останавливается и зубками стучит... Ах, то-то

хорошо, ах, это великолепно!.. Ах, какая прелесть! И как ошалелая, ничего не соображает. И дур этих стадо целое у стекол торчит и завидуют. Характера-то нет мимо пройти... А сколько через этот блеск всего бывает! Это надо принять в расчет. И сколько совращено на скользкий путь! Знаю я очень хорошо.

И, с одной стороны, мне было очень приятно, что Наташе место выходило, но и задумался я. На этом деле очень надо много характеру, потому что для барышни очень много зависимости. И так публика поставила, чтобы все было чисто и приятно для глаз. И магазины на это очень внимание обращают для привлечения покупателей. Вот почему и женский персонал имеет ход, особенно красивые и молоденькие. Есть такие магазины, где прямо шик требуется. Все чтобы под один гарнир. И убранство, и служащие. Обстановка очень в цене. Уродливую какую барышню и не возьмут. Уж ей надо себя особенно украшать и прикрашиваться, чтобы могла соответствовать для магазина. Ну и бывает их положение очень нелегкое. У кума моего племянница поступила в магазин шляп, а хозяин стал добиваться любви и внимания. Да... А как она стала упираться, призвал в кабинет, как бы для разговору о товаре, и говорит:

– Или покоритесь на мою к вам любовь, или же я вас завтра прогоню.

И силой целоваться полез. А она в обморок – и теперь в сумасшедшем доме.

А отчего? От раздражения. Наряды эти и прически с локонами заставляют привлекать к себе, и если хорошенькая какая, то в нарядах она такое раздражение может сделать, что и порядочного человека повергнет на преступление, и даже силой можно, что и бывало при невоздержанности и слабом отношении к этому вопросу. И теперь очень много развелось женского персоналу на службе, и зависимость их коммерческая от мужчин. И зачем мужчинам вступать в законный брак, когда у него в распоряжении масса девиц?.. А долго ли сбиться и погибнуть? Сегодня один управляющий и старший приказчик, а завтра какой покупатель приглядел и стал внимание показывать, а потом еще и еще... И вот сваха Агафья Марковна верно говорит, что брак теперь за редкость, а больше по-граждански поступают.

И я очень тревожился за Наташу, но что поделаешь, раз так необходимо по устройству жизни.

А после Пасхи вышло мне разрешение повидаться с Колюшкой. Через решетку, как с каторжником, разговаривали при людях. Но он ничего, все бодрился. А как стал с нами к концу свидания прощаться, ничего не сказал, а только поглядел со слезами.

Простились мы. Насилу Лушу увел. Стали у ворот, ручейки текли, снег сходил. Стояли так и не уходили. А Луша так тихо плакала. И стал я ее утешать:

– Слезами не поможешь, Бог так, значит... А ты одно утешение имей, что он у нас не каторжник какой, а политический!

А тогда я уж все знал до тонкости от господина Кузнецова, который писал в газетах про пожары и кражи. Мы ему комнату после жильцов сдали, и он был очень образованный, но только очень деньги растягивал и водил к себе разных, что было неудобно ввиду Наташи.

А в конце апреля отправили Колюшку на житье в дальнюю губернию, даже не позволили на квартиру зайти проститься. А потом я пошел к прокурору справиться.

– Ни в чем не замечен, – говорит, – а это по особому правилу за беспокойствие в мыслях.

В мыслях! Да мало ли что у меня в мыслях! Да за мои мысли меня бы, может, уж в каторжные работы давно угнали!..

Кончились экзамены у Наташи, и вдруг она нам и объявляет:

– Поступаю к Бут и Броту в кассирши на сорок рублей.

Удивился даже я. Другие – месяцы ищут, а тут раз – и готово.

– А счастливая я такая! Мне и учителя всегда услуживали. Я только заикнулась подругину дяде, который там заведующий, он и устроил.

Пошел я справиться, и оказалось верно. Заведующий такой бойкий, франт такой, голубенький платочек в кармашке. И очень вежливый.

– Нам, – говорит, – очень приятно, и нам нужны образованные... Они не просчитают... Вы, – говорит, – тоже, кажется, по коммерческой части?

Сказал ему, что машинками занимаюсь. Выговор задал Наташке, зачем опять наврала. А она еще с претензией:

– Что выдумали! Чтобы мне везде в нос совали!..

И такая стала самостоятельная, так матерью и вертит. Канителились они тут дня три с платьем.

И вот прихожу ночью из ресторана. Луша мне вдруг палку подает, а на палке мои буквы из серебра.

– Вот, – говорит, – смотри, как она для тебя все!.. Она добрая.

Очень хорошая палка.

– Пять рублей заплатила через магазин с уступкой. Это она с первого жалованья – вперед взяла. А мне шляпку в пять рублей...

И при мне стала примерять. Очень меня тронуло это. То зуб на зуб, а то вот... от своего труда.

Прошел я к ней в комнатку за ширмочки – спит. Розовенькая такая, губки открыты и улыбается. Поцеловал ее, и проснулась.

– Спасибо, – говорю, – Ташечка, за подарок...

Так она улыбнулась, взяла меня рукой за шею и поцеловала. И потом вытащила из-под подушки грушу хорошую, мари-луиз, и мне.

Такое счастье я испытал, а Луша стоит и ворчит:

– Транжирка какая... Не умеет деньги беречь...

И стала Наташа аккуратно на службу ходить.

XVIII

Месяца три прошло, уж к сентябрю подвигалось. То каждую неделю от Колюшки письма получали, а тут – нет и нет. И вдруг опять к нам на квартиру поход. Ничего не сказали, письма прочли – у Луши в рабочей корзиночке хранились, – забрали и ушли. Потом уж пристав мне сказал, что Колюшка с поселения отлучился.

Так это нас растревожило.

– Что же, – говорю Луше, – плакать? Слезами не поможешь...

Но ведь мать, и притом женщина! А господин Кузнецов мне сказал:

– Ваш сын скоро получит известность!..

Пошел наутро в ресторан, а мне и говорят:

– В газетах про тебя пропечатали, что твой сын убег, и про обыск.

И показывают. Так я и ахнул. А там все! И мое имя-отчество, и фамилия, и в каком я ресторане – все. А это наш жилец Кузнецов прописал.

И вдруг мне Игнатий Елисеич и объявляет:

– Штросс распорядился тебя уволить. Ступай в контору. Я тебя не могу к делу допустить. Сперва и не понял я.

– Как так уволить? За что про что?

– За что, за что? Приказал, и больше ничего.

Так руки у меня и опустились. Я к Штрессу в кабинет. Допустил. Сидит в кресле и кофе ложечкой мешает.

– Да, – говорит, – что делать! Нельзя тебе больше у нас служить.

И на лицо мне смотрит.

– Мы подвержены... Уж раньше требование было, а я тебя держал, а теперь все известно, и про наш ресторан... Ничего не могу.

– Густав Карлыч, – говорю, – за что же? Я двадцать третий год верой и правдой... интерес ваш соблюдал.

Поплакал я даже в кабинете. А он встал и заходил:

– Я ничего не могу! И хороший ты слуга, а не могу. Вот что могу – сделаю...

Взял со стола трубку телефонную – с конторой – и приказал:

– Выдать Скороходову пособие семьдесят пять рублей и залог!

Взяло меня за сердце, и я им тут сказал:

– Вот как за мою службу! Я все у вас между столов оставил, за каждую стекляшку запла- тил... Обижаете!..

Он бумагами зашумел и так и покраснел.

– Не мы, не мы!.. Мы тобой довольны, а у нас правила...

Да, у них правила... У них на все правила. И на все услуги. Деньги, вот какие у них правила. И в проходы можно, на это препятствий нет. Пылинку на столах, соринку с пола следят со всей строгостью. За пятна на фраке замечание и за нечистые салфетки... Все это очень необходимо. А вот за двадцать два года...

Посмотрел я на них, как они в кресле сидели, как налитой, и в бумагах по столу искали, и хотел я им от души все сказать. Так вот... хотел им сказать с глазу на глаз... Да в глотке застряло. Так все у них удобно, и ковры и сухарики...

– Только, конечно, – говорю, – все помирить будем!..

– Ну, довольно, довольно!.. Сказал, ничего не могу!..

И замешал ложечкой.

Пришел в официантскую. Посочувствовали, конечно, администрацию поругали. Ругай, пожалуй... Икоркин очень жалел и руку жал. Сказал, что в обществе заявит. Очень горячился. Говорю метрдотелю:

– Вот, Игнатий Елисеич, за хорошую службу мне награда...

А он мне тоже руку пожал и говорит:

– Жаль, ты очень знающий по делу. Я вот сад на лето сниму и тебя возьму для ресторана старшим. Наведайся к весне...

Вошел я в наш белый зал. Много я тут сил оставил на паркетах, а жалко стало... Двадцать два года! Должен же был знать, что не в этих покоях помирить буду. И людей совестно... Словно как жулика какого выгнали, а сколько я здесь всего переделал и скольких убоготворил! Следов не осталось от такой службы – в воздух и в ноги она уходит...

Получил залог и награду и как вышел в боковой ход и пошел мимо подъезда, из автомобиля господин Карасев выходит, и швейцар ихнюю содержанку, любовницу ихнюю, высаживает, которая на скрипочке играла у нас в оркестре. Добыл-таки он ее от нас и определил в театр и потом оставил при себе. И такая она стала замечательная, и в таких стала нарядах ходить... Как укор мне какой был этим! А я-то ее пожалел тогда... И так она замотала господина Карасева своими манерами, что совсем в руки забрала. Да, эта в обиду себя не дала, хоть и вся-то в пять фунтов, что очень обожают некоторые. Махонькая и тонкая, как белка, а вот, поди ты, какое счастье взяла!..

Не пошел я домой тогда. Как Луше-то скажу? А она совсем расхворалась, и припадки сердца стали с ней делаться. И пошел я бродить без направления.

В пивной посидел, на мосту постоял. Стою и смотрю на воду, как течет и течет... Все за делом, бегут, едут, в магазинах стоят, а я без определенного занятия... Куда пойти? Думал было к Кириллу Саверьянычу пойти, да как вспомнил, как он глазом подмигивает да рот кривит, – не пошел... И вышел я на улицу – сами ноги привели... А это где мы раньше квартировали, у барышень Пупаевых. Прошел мимо ворот. Вывесочка про попечительство у барышень, автомобиль ихний у крыльца, и шофер знакомый папироску курит. Поздоровались, а мне стыдно: как написано на мне, что устранили меня от дела.

Окликнула меня тут женщина, над нами жили, жена машиниста с железной дороги. Стала про Лушу спрашивать, не к нам ли, навестить. Чай пить стала приглашать, а я вижу, что она ко мне будто приглядывается, почему я не в ресторане. И я сказал ей, что свободный мой день и хочу вот провести Ивана Афанасьича. Про учителя вспомнил. Оказывается, совсем плох. Хоть душевного человека навестить...

Прошел к нему в квартиру, а он в кухне, за ширмочкой. Отделили ему уголок.

Сын-то его был на службе, а супруга высунулась в бумажных завитушках и говорит сердито:

– Какие уж тут ему гости! Пройдите...

Очень меня сконфузила. Прошел к нему и не разделся. За ширмочкой на диванчике он лежал, дремал, голова газетой укрыта. Воздух у него был очень тяжелый. Кухарка его кликнула.

– Всю кухню завонял, – говорит. – Гниет у него снутри, и на дню сколько раз рвет как сажей...

Узнал он меня и заплакал. Подняться хотел и за живот схватился. Очень бедственное положение. Присел к нему на табуретку.

– Вот... очень страдаю... Завтра в больницу, в раковую клинику...

Пригляделся я к нему, а по нем эти... извините, насекомые ползают.

– Вот, – говорит, – как живу... В бане четыре месяца не был, не свезут. В номера мне надо, а дорого им...

Закрыв глаза и затрясся.

– Вот, Яков Софроныч... Закон Божий... Может, чаю выкушаете?

А кухарка выставила голову и шепчет:

– Каторжники проклятушие... И мне-то жалованье за три месяца не дают, все в банку носят... сволочи!..

А он мне:

– Насилу умолил в клинику меня... Там меня в ванну посадят... Вот, Яков Софроныч... закон Божий...

И я рассказал ему тут про свое горе. А он и говорит:

– Счастливый вы человек! За сына вы страдаете, а я так от сына... И внуку не пускают ко мне... от заразы...

И как вышел я от него на чистый воздух, совсем оправился. Вот еще в каком несчастном положении бывают, а я-то еще – слава Богу...

XIX

Всего было. С Лушей опять припадок сердца случился, все фортки пооткрывали. И очень жилец Кузнецов извинялся.

– Не думал я, – говорит. – Я хотел про вашего сына хорошее написать.

И так ему стало стыдно, что на другой же день от нас перебрался. Точно как нарочно его к нам принесло, чтобы навредить.

И вдруг дня через три появился ко мне Икоркин. Никакой особой и дружбы-то у меня с ним не было, а он заявляется и говорит:

– Наше общество пока без денег, а мы постановили поддерживать вас месяц по копейке с номера. Вот пожалуйста три рубля...

И руку за борт, как у нас господа на юбилеях. Сказал я ему, что не в таком еще положении и дочь помогает, но он настоял.

– Не обижайтесь принять от товарищей. Только позвольте мне расписку в получении оной суммы...

Чай пить даже не остался. Вот! Вот какое проникновение!

А вечером мне Черепахин вдруг:

– Вот вам пять адресов кондитеров, у них я на балах играю, вас с удовольствием старшим будут брать. Я о вас говорил.

Поблагодарил я его за уважение и сказал, что такое знакомство у меня есть, и решил пока в розницу себя отдавать, на случай.

И перешел я на другое занятие, приходящим официантом.

Конечно, не так это почетно, но жить можно. И я приступил, ударяя себя по самолюбию. А эта работа много ниже, и тяжело, и зависимости больше. Сегодня у одного кондитера, завтра у другого, и ночная работа опять – раньше, как в седьмом часу, не уберешься. А ответственность! На балах всякого народу бывает. Мельхиор крадут, а про серебро и говорить нечего. Опять строгость нужна с подручными, а к этому я не приучен. И потом приноровляться надо и знать, около кого надо пошуметь, чтобы видно было уважение. Как, примерно, средь бала обношение пирожками с икрой, чтобы сперва родителям жениха и кто больше влияния для свадьбы имеет. Тут-то и шуметь, около них. Это все очень любят, без всякого различия. Тут-то и сорвешься, и на неприятность.

Раз вот так старушка в уголку сидела, а я ее проглядел – так себе старушка, без особого вида, и я мимо ее барыне толстой поднес пирожки. Так меня старушка за фалду и дернула! И вся-то с косточку... А такой шум устроила при всех гостях!..

– Я приданое за внучкой даю, а меня на задний план! Внушите хвостатым дуракам вашим!

А потом и вообще... В ресторанах незаметно в отношении женского полу, а на свадебных балах, особенно у торгового сословия, вопрос этот обстоит очень неблагоприятно. Очень лихие молодые люди из этого сословия и любят сорвать плод под шумок с легкомысленных девиц, которые приходят в раздражение танцами под музыку и секретным употреблением из буфета. Снюхиваются с невероятной быстротой! А наичаще молодые женщины, которым очень трудно это при семейной обстановке, и ищут удобного случая. Вот тут только следи, чтобы не было неприятности.

Подойдет какой степенный и говорит прямо:

– Понаблюдай, чтобы та вон, в желтом платье... и тот вон, с хохолком... Последи...

Понятно, чего последи.

А то фронт какой краснорожий в высоком хомуте мигает и требует:

– Где у вас тут, чтобы люди не ходили? – и целковый сует.

И скандалы часто из-за провизии. Очень тревожная служба. Приехали повеселиться и покушать, а ты, как окаменный какой, мучаешься под музыку. Разглядеть если хорошенько, так все мы облезлые и с болезнями ног и груди. А мне сразу перелом: из теплых и светлых зал с зеркалами – в недра сквозного ветра и прочих неудобств...

И вся-то жизнь моя – как услужение на чужих пирах... И вся-то жизнь – как один ресторан. Словно пируют кругом изо дня в день, а ты мотаешься с блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю-то жизнь в ушах польки и вальсы, и звон стекла и посуды, и стук ножиц. И пальцы, которыми подзывают... А ведь хочется вздохнуть свободно и чтобы душа развернулась, и глотнуть воздуха хочется во всю ширь, потому что в груди першит и в носу от чада и гари и закусочных и винных запахов... Очень неприятно.

Месяца два подвизался я так, в розницу, и тоска нас ела за Колюшку: пропал и пропал. И к гадалкам Луша ходила. «Будут, говорит, перемены к лучшему».

А тут еще Наташа нас удручать стала. Придет из магазина, истомленная, сидит. Первое время еще в театр ходила, прыгала, а тут уткнется в уголок и молчит...

Стала Луша говорить, замуж бы ее как... А за кого теперь замуж, когда жизнь переходит на холостую ногу! У меня и знакомства – что официанты да повара, а она их терпеть не могла.

Один-единственный без нашей специальности – Кирилл Саверьяныч, но он совсем меня покинул. Встретился я с ним на улице, а он от меня на другую сторону.

Пробовал я Наташу пытать, и у ней один ответ:

– Что вы всё выдумываете! Скучно мне, и я пять рублей просчитала...

Всегда такая легкомысленная была, что ей пять рублей! И решил я сходить в магазин, спросить, как она служит.

Пришел, подняли меня на машине, вошел как покупатель и разглядел ее.

Сидит моя Наташечка в клетке и печаткой отщелкивает. А тот, заведующий, перепархивает и наблюдает: такое его занятие – порхать для наблюдения. Там карандашиком отчеркнет, там выговор задаст, по-немецки с барынями рассыпает. Подошел к нему, чтобы Наташа не видала, и спрашиваю, ну как, привыкает ли к должности. Так мелочью и рассыпал:

– Даже очень! И просчетов никогда, я вполне доволен.

И так стеклышком и мотает на шнурке и с носочков на каблучки перекачивается.

– Замечательно... удивительно трудолюбива... в полном смысле...

И от него так – помадой. Утешил меня. И Наташе я на глаза не показался, чтобы еще не обиделась. Значит, наврала про пять рублей. Конечно, думаю, просто ей скучно стало, и такие притом лета, а она очень из себя солидная...

Пошел домой и уж стал к своему переулку подходить, слышу вдруг сбоку:

– Папаша!..

Оглянулся – он! Колюшка! Глазам не верю и перепугался, а он от меня в переулок и рукой махнул.

Так во мне забилося, забилося все, ног не слышу. Исхудал он сильно и в легком пальте, а уж морозы начались.

Пришли мы в портерную, прошли в заднюю комнату. Пошел молодец за пивом, а Колюшка обхватил меня, опомниться не дал, и опять сел. Глядим друг на друга и смеемся.

– Вот и я! – говорит. – Не ждали?

У квартиры меня караулил, а зайти опасался. Такое положение его. И очень стал беспокойный и тревожный. Спрашивать его стал обо всем, как жил, – ничего не объяснил.

– Что обо мне говорить... О себе лучше скажите.

А обо мне-то что говорить? Сказал про все, что вот устранили меня и теперь по балам хожу. Сморщился и губы стал кусать.

– Да, – говорит, – плохо...

Грустный такой стал. Про мать и про Наташу спросил. И сказал я ему с чувством:

– Коля! Милый ты мой сын! Вернись ты к нам, пожалей себя! Явись к начальству. Ведь за тобой нет ничего – может, и простят тебя...

Даже рассердился. Нечего об этом говорить, оставьте и оставьте!

– На кого ты, – говорю, – похож стал! Ведь прямо волчью жизнь ведешь! И при нас нет никого, Наташа замуж выйдет, старость идет...

А он только:

– Оставьте... Тяжело мне слушать.

И морщины у него даже стали на лбу и на лице. Слез не могу удержать, и он расстроился, стаканчиком постукивает.

– Ничего, ничего... Очень рад, что вас повидал. Может, скоро и опять вместе будем, другое пойдет...

По матери он сильно соскучился, по разговору видно было.

Спрашивать стал, где он пристал, – не сказал. На два дня только, проездом остановился. Даже обидно стало, что и от меня-то скрывает. И так во мне горечь закипела, и сказал я ему:

– Жильцы эти проклятые тебя совратили! Не будь их, с нами бы ты был и экзамен сдал...

А теперь мать убита прямо...

– Оставьте! Не знаете вы людей!..

– Отлично, – говорю, – знаю! Всегда так: взманят неопытного, а сами...

А он и сказать не дал.

– Ну так я вам скажу! Сергей Михайлыча и нет теперь даже!..

И так на меня выразительно посмотрел. А мне от этого еще более сделал. Жуть прямо. И опять я его стал просить отойти от них. И потом мне вдруг одна мысль пришла. Спросил я его про сожительницу того, про жилищку. И в глаза ему посмотрел. Ничего. Очень спокойно сказал, что та вовсе и не сожительница была, а сестра. Так я ничего и не понял.

Потом вырвал он листок из книжки, закрылся рукой и стал писать.

– Вот, мамаше отдайте... Скажите, от кого-нибудь получили... Скажите, что на заводе где-нибудь живу... на Урале...

Очень тяжело было. И мой он, и как бы и не мой. А вижу, что и ему нелегко. Взял меня за руку, посмотрел мне в глаза...

– Какой, – говорит, – вы худой стали, папа...

И заморгал.

Вышли мы из пивной, и уж темно было на улице.

– Ну, мне сюда... – говорит. – Простимся.

Обнялись мы у заборчика в темноте, и я его наскоро перекрестил, как бывало. Поцеловались.

– Что же, не увидимся больше?

– Ничего, увидимся...

Только и сказал. И разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся.

Пошел я домой. На колокольне ко всенощной благовестили. И зашел я в церковь, чтоб облегчить душу, камень скинуть...

И не получил облегчения.

XX

А в последнее время у меня предчувствие было: вот что-то должно и должно случиться...

Отдал я записку Луше, сказал, что через ресторан получил. Поверила. И так он ей ласково написал, что она вся как засветилась. Румяная стала, на месте не могла усидеть. И вдруг с ней нехорошо сделалось. Платье на груди стала рвать. Воздуху мало стало. Привели ее в себя, ничего. Плакать начала. Сидит тихая, а слезы так и бегут, бегут...

А ночью с ней опять припадок. Поднялась на постели, а потом на бок, на бок...

Позвали доктора, а уж она померла. Паралич сердца.

Похоронили... Я тогда совсем голову потерял...

Так Колюшка с матерью и не простился...

Да. А тут вдруг с Наташей стало твориться. Уж похоронили, а она не хочет и не хочет идти на службу. Ходит и ходит, как тень, по квартире, пальцами похрустывает. Поставит коленку на стул и глядит в окно. И Черепяхин все ее успокаивал и то воды подаст, то капель накапает. Со мной стал очень раздражительный, даже кричать стал на меня, а ей только одно:

– Наталья Яковлевна, успокойтесь... Наталья Яковлевна, не беспокойтесь... Примите капель от волнения...

А она так и рвет:

– Оставьте меня, оставьте!..

А то забьется в угол и на мандолине звенит. Мать не остыла, а она музыку. До того довела – выхватил музыку да об пол. А в душе у меня – вот! Бьется и бьется...

И от Бут и Брота два раза присылали записку, чтобы приходила на службу. А она прочитает и разорвет. Уж как я ее успокаивал, допытывался, что такое с ней, один ответ:

– Надоело мне все, надоело!..

Тогда я решил пойти к Кириллу Саверьянычу и просить, чтобы он повлиял, потому что у него дар слова. Но тут меня постиг последний удар.

Пришел я совсем не вовремя. Стою перед его магазином – и глазам не верю. Все зеркальные стекла вдребезги, восковые фигурки сбиты – как пожар был. Вошел к нему в магазин, а он там в шубе ходит без шапки и собирает прически и пузырьки.

– Что такое случилось? – спрашиваю.

А он в растерянности мне пальцем мотает.

– Вот... вся высшая парфюмерия и образцы волос... Не-ет, я взыщу с администрации!..
Ведь это что!..

– Кирилл Саверьяныч! Неужто это ваши мастера?

А он так на меня и накинута.

– Какой я тебе Кирилл Саверьяныч?! Любоваться пришли? Вот они, сынки ваши, мерзавцы! На тысячу рублей убытку!..

А это было нападение. Типографии забастовали, а которые не закрылись, их силой ходили закрывать. И одна такая как раз рядом была. Кирилл-то Саверьяныч и вышел укорять для удержания порядка и даже в раздражении в свисток ударил. Ну тут и вышло взаимное неудовольствие. Напали они на него.

Стал я его успокаивать и просить к себе. Думаю, может, развлекется в постороннем месте, а то прямо потрясен. А он так на меня напал со всякими словами:

– Чтобы я к тебе пошел?! Да я и сапоги-то брошу, в которых и был-то у тебя! Это все через таких, как твой сын, мерзавец! Они-то и натравливают! Их вешать всех надо поголовно, стрелять, сукиных детей!

И тогда я уж не мог стерпеть. Вышел я на тротуар, в окно голову просунул и сказал отчетливо:

– Все это, по-вашему, может, очень хорошо и умно, а жаль, – говорю, – что такой сволочи, как вы, они вам головы не оторвали!..

Очень я расстроился. А он так и закаменел.

– Повторите, повторите!

Плюнул я и пошел.

И так покончилась дружба моя с этим человеком, который вошел в мою душу, как змей, с лаской и умом, а на деле оказался не как образованный человек, а жестокий и злобный. Он очень хорошо мог говорить про науку, а что его слова! Много людей повидал я, которые очень хорошо говорили, а что толку! Он поскорбит и покурит сигару в мечте, а какая цена? Нет, ты ко мне подойди, успокой мое сердце, поплачь со мной и забудь про свою сигару... Вот какая должна быть самая главная наука.

И вдруг заявляется к нам заведующий от Бут и Брота, на лихаче прикатил. Такой разодетый, в шубе с бобрами. Наташа его приняла, и что-то они поговорили – не слышал я. Сама и дверь за ним заперла. Стал я спрашивать, по какому случаю он к нам.

– У нас вышли недоразумения... Он мне замечание сделал, а теперь извиниться приезжал...

И по лицу ее понял я, что что-то не так... А разве от нее добьешься? Да и в голове-то у меня не то было.

И опять стала на службу ходить.

А Черепяхин совсем тогда расклеился. Как вечер, так у него голова болит. Все себе голову полотенцем стягивал и в темноте сидел. Веточку какую-то принес из сада и в бутылку посадил.

– Для чего это вам? – спрашиваю.

– А это я сюрприз хочу для праздника...

Очень стал странный, и я подумал, не тронулось ли у него тут. А раз ночью, слышу, беспокойство у него в комнате. А это он с музыкантом рассуждает, и очень настойчиво:

– Одевайся, одевайся! Едем! Там электричество и котлеты... Супом тебя будут кормить...

А скрипач его молит:

– Что вы меня дергаете, Поликарп Сидорыч? Оставьте меня в покое!..

– Нет, нет! Дай мне дело совершить! Я докторам речь скажу... Нельзя тебе здесь, здесь температура высокая и от окон дует...

А у нас действительно высокая была температура: плюнешь – и примерзает.

Пристал и пристал к нему. И тот уж всячески отговариваться стал:

– У меня и калош нет, простужусь...

– Подарю тебе калоши!

– Да они мне велики... Я и здесь не умру...

– Умрешь обязательно! – молит Христом Богом, прямо смех. – А там вином тебя отпоят...

Тогда уж скрипач его зацепил.

– Вы хотите меня прогнать, боитесь, что за угол не заплачу! Так я опять скоро буду на работу ходить...

Тут произошло молчание.

– В таком случае вам нельзя в больницу. Я этого не подумал...

А это в нем уж начиналось проявление.

Возвращаюсь я поутру с дела, Черепахин не спит. Отпер мне в одежде и говорит по секрету с дрожью, а сам все за голову себя:

– С Натальей Яковлевной произошло... Плакала сегодня ночью, в три часа. Я не могу смотреть... Одна ездит ночью...

Думаю, может, это ему представляется. А он вполне рассуждает:

– Потому мамыши у них нет, а мужчинам может не показаться. Ежели кто их обидел! – даже зубами заскрипел. – Что-то у них внутри есть...

Прошел я к Наташе – спит. Поставил самовар, сходил в булочную, а уж восемь часов, и, слышу, Наташа проснулась. Прошел к ней и спрашиваю, почему так поздно воротилась, дворник мне сказал.

А она мне гордо:

– Кажется, не маленькая! Сама зарабатываю и не даю отчета...

Волосы чесала, так и рвет гребенкой, даже трещат. Стал я ей выговаривать, а она шварк гребенку – и на меня:

– Ну что вы на меня уставились? Когда только кончится проклятая жизнь!

– Да что с тобой? И Черепахин слышал, как ты ночью плакала...

– Ну и плакала! Хотела вот и плакала! И отвяжитесь вы от меня с вашим Черепахиным!..

И кофточка швыряет, и по комнатам мечется...

– Спасибо, – говорю, – тебе...

Села чай пить, пощипала белый хлеб и на службу. Так ничего и не добился.

Недели две прошло. Раза три ночью возвращалась. Начнешь говорить, один ответ – не маленькая, у подружки в гостях была. И то на нее хмара нападет, сидит – дуется, то на мандолине бренчит. Опять завела. Не пойму и не пойму. И вот раз вечером прибегла из магазина и одеваться. Перчатки лайковые по сих пор надела...

– Куда собралась?

– В театр. Не могу я в театр?

Поехала. В четвертом часу ночи – звонок.

– Что так рано? – спрашиваю.

– Потому что не поздно!..

Дерзко так. Прошла мимо меня – шур-шур юбками. И так от нее духами. Перчатки сорвала, швырнула.

– Этого, – говорю, – я больше не позволю! Не должна ты себя срамить!

– Мое дело!

– Как так – твое дело? А замуж-то я буду тебя отдавать?

Передернула она плечами, как, бывало, Колюшка.

– Не собираюсь!.. И вот что я вам скажу. И вас я стесняю и себя... Все мне надоело... Лучше я буду отдельно жить.

Убила она меня этим словом.

– Все равно семьи нет... Только по утрам и видимся...

И не своим голосом, а как насильно.

– А-а... вот как! Так ты свободной жизни захотела?! Ну, так ты прямо мне скажи, всади уж лучше нож в душу! Скажи, я тебя бить не буду!.. Захотела свободной жизни?

Отвернулась она и молчит. И больно мне и даже страшно стало оттого, что она не ответила.

– Скажи, Наташа! Детка ты моя, родная!..

Дернулась она и руки сжала.

– Ну что я вам скажу? Что?

– Да ведь ты вся не в себе это время! Ну, посмотри мне в глаза!.. Ну, смотри... Смотреть не можешь?! Наталья! – говорю. – Лучше все скажи!

Подняла она на меня глаза и смотрит через голову, думает. Тогда решил я ее тронуть.

– Вот, – говорю, – мать на тебя глядит со стены... Ее ради памяти скажи мне... Зачем отца хочешь бросить? Для кого я жил-то?..

Кинулась она ко мне и прижалась.

– Если бы вы знали, как тяжело...

– Ну скажи, детка, скажи... – шепчу ей, а такая мука во мне...

– Неудобно мне у вас... У меня жених есть...

– Как жених?

– Василий Ильич... наш заведующий...

– Почему же я этого не знаю? И зачем тогда тебе уходить?! Нет, это не то!

– Он только сейчас не может жениться... ему бабушка не позволяет.

Оттолкнул я ее. Сразу мне она тогда противна стала.

– Ложь! – говорю. – Ложь! Я все узнаю! Я завтра в фирму пойду!

– Вот вам крест! Я вам все скажу! – испугалась тут она. – Вы сами хотели этого! Я его полюбила. Он женится на мне...

Все тут я понял. И назвал я ее тут... И тут мне нехорошо стало. Прожгло меня насквозь. Очнулся я на постели – паралич левой стороны сделался.

Две недели пролежал, пока оправился. Ходила она за мной, и Черепяхин помогал... И доктор ездил. И такая ласковая была, такая ласковая. Ночи просиживала. И как поправился я, она мне и говорит:

– Папаша, вы ошиблись... Василий Ильич сам с вами хочет говорить. Можно?

И вдруг и заявляется он, как наготове.

И тогда я ему прямо сказал все, что так поступать нехорошо. Но он несколько не смутился и стал, негодая, оправдываться.

– Я люблю вашу дочь и сейчас бы женился, но бабушка не хочет... Она мне с миллионом сватает, а я человека ишу... Но она больше году не протянет, у ней сахарная болезнь, и все доктора в одно слово... Вот я и тяну, чтобы она меня наследства не решила... Она очень со средствами.

И давай мне разъяснять:

– Мы получим от бабушки капитал и откроем магазин. И вы увидите, в какой жизни будет ваша дочь... Вот клянусь вам!

И перекрестился. И тут Наташа вышла и обняла меня. А тот-то мне свое поет:

– Это все предрассудок... Мы как муж и жена, только по-граждански. И я считаю вас за отца, потому что сирота... А вы приходите ко мне на квартиру и увидите, как я живу...

И Наталья мне:

– Как у него хорошо! У него камин, папаша... И дача есть...

И тот-то мне:

– Приезжайте к нам на дачу чай пить. У нас лодка, будем рыбку ловить.

Так все хорошо изобразил.

– Я вашу Натю буду куколкой одевать...

И так просто все обернули, как калач купить. Запутали меня, словно ничего такого нет.

– И вы не думайте, что я к вашей специальности в пренебрежении. Я даже Натю побранил, зачем она скрывала. Я даже горжусь этим...

Так расположил меня словами, удивительно. А Наталья мне в другое ухо:

– Он три тысячи получает!..

А тот-то мне с другой стороны:

– У меня кой-что есть. Я еще из процента и комиссию получаю с поставщиков. На черный день будет...

– Ах, папаша, он мне жизнь открыл! Мы на бегах были, и в тотализатор он на мое счастье двести рублей выиграл, на сак мне каракулий...

Горько было, но я все принял на душу. И дал разрешение на уход. Что поделаешь, раз жизнь так вышла? Все одно.

Звали очень к себе. Наташа приходила. Был я у них. Кофеем поили и показывали все из обстановки. Очень все хорошо. А ему это поставщики на Бут и Брота в дар присылали. Буфет один двести рублей стоил. У камина сидел, и сигарой меня угощали. И действительно он такой сак купил Наташе замечательный – рублей за триста, а ему по знакомству за сто отдали. И она как все равно жена у него стала. В электрический звонок звонит, прислуга входит, и она ей с тоном так:

– Подай то, да подайте это! И почему самовар так долго?

Откуда что взялось. В капоте голубом, ну не как девчонка, а как солидная барыня. А тяжело мне у них было: так как-то все шиворот-навыворот.

И думал ли я когда, что так будет?..

XXI

Бросил я квартиру и перебрался в комнату. Зачем мне квартира? Старичка скрипача в больницу поместили, а Черепяхин таки напросился ко мне, слезно просил.

– Я, – говорит, – не могу один... Я один боюсь...

И опять на него уход Наташи подействовал. Начнешь что-нибудь про нее говорить, а он устает глазами и спрашивает:

– Почему так ниспровержено?

Только очень невнятно стал говорить, даже не доканчивал, и у него слова навыворот выходили. А на работу ходил, когда требовали. И как свободное время, мы с ним в карты, в шестьдесят шесть, но только он стал масти путать. И начнет какую-нибудь околесицу вести:

– Поедьте куда-нибудь, к туркам... Там у них табак растет. Или в Сибирь? Там очень много золота, и можно железную дорогу купить и всех возить...

А то раз про керосин:

– Зачем керосин покупать? Можно взять в аптеке травки светлики и настоять на воде... Вот и будет керосин!..

Уж тронулось у него. И я даже стал его опасаться. Суп стал горсточкой черпать. А как застал его раз, что он на полу в чурочки играет, пригласил полицейского врача знакомого – осмотреть. Тот его по коленкам постучал, в глаза поглядел, писать велел, и как стал ему Черепяхин про светлику объяснять, будто она на кобыльем сале растет, прямо сказал, что у него паралич мозга и скоро может начаться буйство.

Обещал в больницу устроить. А Черепяхин в тот же вечер пошел на трубе играть и скоро, смотрю, возвращается с пакетами. Принес фунтов десять мятных пряников и пять коробок заливных орехов. И вывалил на стол.

– Вот вам, кушайте! Супу можно не варить, а будем так, с пряниками...

– А где же, – говорю, – ваша труба?

Он так головой мотнул и какую-то бумажку в огонь шварк – печка железная топилась.

– Я ее в кассу отнес. Очень у меня от нее в голове гудит... Теперь – полное избавление!

Сел так вот, положил голову на руки и глядит в огонь.

А тут началось страшное: опять полная остановка всей жизни. И, слышно, стрелять начали.

В ужасном потрясении мы были. У хозяйки пять девчонок, а муж был в весовщиках и тоже бастовал, и она все плакала, что его прогонят со службы. А меня страх за Колюшку взял. Лежу и думаю: уж где-нибудь здесь он. И пропал тут от нас Черепяхин. Слушал-слушал все, по комнате метался, вышел незаметно и пропал. Где тут искать? Сунулся я было, а у нас на углу стена. Ночь не ночевал, на другой день явился к вечеру. Рванный пришел, словно его по гвоздям волочили. И страшно так глядит.

– Дома надо сидеть! – прикрикнул уж на него.

А он меня за руку так спокойно:

– Пойдемте... Там очень много народу...

Покричал тут я на него, что из комнаты попрошу, ну он и присмирел с этих пор. И все дни сидел у окошечка и на ворон на помойке смотрел.

И вот в таком тяжелом положении наступило Рождество Христово.

Встал я утром, в комнате холодище, окна сплошь обмерзли. А день ясный, солнце бьет в стекла. Подошел я к окну. И так мне тяжело стало... Праздник, а ни души родной нет... Один в такой торжественный праздник.

А бывало, так торжественно у нас в этот день. Луша раным-рано подымается, бьет пироги... Гусем пахнет, поросенок с кашей и суп из потрохов. Очень Колюшка суп любил из потрохов... И у меня чистая крахмальная рубашка всегда на спинке стула была приготовлена и сюртук на вешалочке, чтобы мне к обедне одеться. И всегда всем подарки я раздавал. Сперва Луше моей хлопотунье... Ей я духов хороших подносил флакон – одеколону и на платье. И Наташе на театр там, и Колюшке тоже... Бывало, пойдешь их будить, выдернешь думочку – и их по этому месту... Пообедаем честь честью, как люди...

И вот то Рождество я встретил в такой ужасной обстановке...

Смотрю в окно на мороз, и томит в душе... И колокол гудит праздничный... И вот вижу я на окне-то, у стекол-то мерзлых, цветы из бутылки... А это ветка, которую Черепяхин-то посадил, вся в цвету, сплошь. Черемуховый цвет, белый... И пахнет даже, как весной... Так как-то необыкновенно мне стало. Как подарок необыкновенный к празднику...

Посмотрел я на Черепяхина, а он лежит на спине и смотрит в потолок.

– Вот, – говорю, – ваша ветка-то... распустилась!

И поднес к нему. Поглядел он, вытянул руку и погладил их, цветы-то... Очень осторожно. И такое у него лицо стало, в улыбке... Однако ничего не сказал.

А это в старину, бывало, делали. Черемуху или вишню ломают в Катеринин день и сажают в бутылку, у кого Катерина в доме. Для задуманного желания. И она на первый день Рождества должна спеть. Так мне хозяйка объяснила.

И так она у нас и стояла, дня три все осыпалась...

И работы не было у меня все четыре дня. Лежал и лежал все на постели. Куда идти и зачем? Все у меня разбилось в жизни. И только один Черепахин при мне был и все ходил и шарил по углам. А это он, должно быть, все трубу свою отыскивал.

И вот когда я был в таком удручении и проклинал всю свою судьбу и все, проклинал в молчании и в тишине, в холодную стену смотревши, проклинал свою жизнь без просвета, тогда открылось мне как сияние в жизни. И пришло это сияние через муку и скорбь...

Пятый день Рождества пришел, и собирался я уж к вечерку пойти на дело, приходит хозяйка и говорит:

– Спрашивают вас тут... в прихожей...

А это повар знакомый должен был зайти по делу.

Вышел я в прихожую и не вижу, кто... Слышу голос незнакомый и не мужской, тоненький:

– Вы Скороходов?

А темно уж было и не видать в прихожей. Сказал я, что самый и есть Скороходов, и позвал в комнату. Вижу – женская фигура, а разобрать не могу, кто.

А она и говорит:

– Это я... Мы у вас жили... Я вам письмо от Коли...

Лампочку я засвечал, чуть не уронил. Так все и забилося во мне. А это она, жиличка наша, Раиса Сергеевна, беленькая-то... В жакеточке и башлычке... Увидела Черепахина и назад... А я ей показал на голову. И подает записку.

– Ничего, ничего... не пугайтесь...

Не могу прочитать... Увидала она, что я не могу, сама мне прочитала. И все меня за руку держала.

– Не плачьте... не надо плакать...

Теперь все прошло, и все я знаю... А тогда камнем все навалилось на меня. А он тогда суда ожидал в другом городе и со мной прощался. И как она меня нашла в такие дни, и как все вышло, не знаю. Кто уж указал ей пути? Не знаю.

Ах, как он написал! Как мог к душе моей так подойти и постичь мою скорбь! Я его письмо всем сердцем принял и вытвердил...

«...Прощайте, папаша милый мой, и простите мне, что я вам так причинил...»

Слезы у меня все застлали, ничего не вижу, а она меня за руку держала и так ласково:

– Не надо... не плачьте...

Ушла она... Что тут говорить? Тут не скажешь, что пережито...

XXII

Ах, какая была ночь!.. Утро пришло наконец. Собрался я и поехал туда... Только бы его застать, повидаться бы только в последний раз...

Потом, как приехал я туда, в гостинице меня нашли, но ничего мне не сделали, потому что я прямо сказал, что получил письмо и приехал проститься. Письмо взяли...

– Берите и меня... – говорю. – Посадите меня с ним...

Но меня оставили в покое. И с неделю выжил я там, но не мог увидеть. Ходил-ходил кругом и ничего не узнал. Потом мне сказал один:

– Поезжайте домой и получите уведомление... И не надо расстраиваться. Дело еще не закончено.

И обманул ведь! Не поехал я. А на другой день суд должен был происходить... Да не состоялся. К ночи убежало их двенадцать человек... Восьмерых поймали, а Колюшку не нашли...

Потом узнал я все, почему не нашли... И вот тут-то открылось мне как сияние из жизни.

Через базар побежал он на риск, пустился на последнее средство. И видит – лавочка в тупике. Вбежал в нее, а там старик один, теплым товаром торговал. На погибель бежал, на людей, а вот... Бог-то!..

Вбежал в лавочку, а там старик один дремлет в уголку на морозе.

– Спасите меня или выдавайте!.. Некуда, – говорит, – мне больше!..

Только и сказал. Один бы момент – и погибель ему была... Глянул на него тот старик, взял за рукав и отвел за теплый товар.

– Постой, молодец... Сейчас я тебе скажу...

Так и понял тот, что сейчас выдаст, да ошибся. К уголку старик отошел и подумал. А в том уголку-то иконка черненькая между валенок висела...

И вот сказал ему тот старик:

– Не должен бы я тебя принять по правилам, а не могу. Раз ты сам ко мне пришел, твое дело. Полежай в подвал на свое счастье.

И уж лавки на базаре все были закрыты, один тот старик задремал и запоздал. И вот надо было ему запоздать...

И опустил его в подвал под лавкой. И потом валенки туда ему кинул и теплую одежду. И хлеба ему опускал. Две недели выдержал его так, а потом повез товар в село на базар и Колюшку провез в ночное время из городу и выпустил в уезде у леса.

– Бог, – говорит, – тебе судья... Ступай на свое счастье!..

Как чудо совершилось.

Писал потом мне Колюшка:

«Есть у меня два человека: ты, папаша, да вот тот старик. И имя его я не знаю...»

Потом был я в том городе, нарочно поехал в Великом посту. Хоть повидать того старика и сказать ему от души. Был. Обошел все лавки с теплым товаром. Четыре их было: три в рядах, на базаре, и четвертая в уголку, в тупичке. Вошел в нее, смотрю – действительно, старик торгует. Строгий такой, брови мохнатые, и в очках.

Купил у него валенки и варежки и говорю:

– Вы для меня очень большое одолжение сделали...

Даже поглядел на меня с удивлением.

– Какое одолжение? Взял я с вас, как со всех. Конечно, в магазине бы с вас на полтинник дороже взяли, это верно...

А я так пристально на него посмотрел и говорю тихо ему:

– Не то. Вы, – говорю, – сына мне сохранили!..

Так он это отодвинулся от меня и говорит строго:

– Что это я вашего разговору не пойму...

А я опять в глаза:

– Не могу я, конечно, вас по-настоящему отблагодарить... Только вот просвирку за ваше здоровье буду вынимать... Как ваше имя, скажите!..

Пожал он плечами и улыбается.

– И все-таки не пойму... Но если уж вам так желательно, так зовут меня Николаем...

Ведь это что!

– И моего сына зовут тоже Николаем... – говорю.

– Очень приятно, но только я никого не сохранял... Торгую вот помаленьку.

А сам так ко мне присматривается. Очень мне это понравилось, как он себя держит. Глянул я на уголок, а там между валенок черный образок висит. Говорю старику:

– Это вы! Вот по образку признал!..

– Ну и хорошо, – говорит. – Вы образец спросите, – может, он скажет...

И все улыбается. А потом взял меня за руку, к локотку, и потряс.

– Не знаем мы, как и что... Пусть Господь знает...

И больше ничего. Однако поинтересовался, чем занимаюсь и много ли деток. И как все прослушал, сказал глубокое слово:

– Без Господа не проживешь.

А я ему и говорю:

– Да и без добрых людей трудно.

– Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!..

Вот как сказал. Вот! Вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. И простое это слово, а не понимают. Потому что так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени-то понять как следует. В этом я очень хорошо убедился в своей жизни.

И вот когда осветилось для меня все. Сила от Господа... Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе.

И вот один незнакомый старичок, который торговал теплым товаром, растрогал меня и вложил в меня сияние правды.

Просидел я тогда с неделю в том городе, как Колюшка-то убежал. Пытали меня, не знаю ли я чего про сына. А что я знал? И все-то дни и ночи как на огне был. Поймают, нет ли... По церквам ходил и на базаре толкался, не услышу ли чего. Никто и не разговаривал. Торгуют и продают, как везде. Совсем мимо него ходил и не чуял. В канцелярию ходил, спрашивал, не поймали ли...

А писарь мне говорит:

– Почему это вы так интересуетесь, поймали ли? Ведь один конец...

– Потому, – говорю, – и спрашиваю, чтобы знать, что еще не поймали!

Так прямо и сказал. А он мне:

– Даже и неудобно так говорить... Но только что все равно поймают.

Надо ехать. Оставил я хозяину постоялого двора на письмо и марку. Попросил написать, если поймают.

– Обязательно пришлю, – говорит. – Очень нам все это надоело.

И приехал я тогда домой в страшной тревоге. Что поделаешь – надо работать. А Черепахина уж нет – отправили в сумасшедший дом за буйство. Все меня искал и все стекла переклотил.

И сколько потом ночей протомился я, потому что пришло такое, что ничего в жизни у меня не осталось. Наташа... А она совсем как чужая стала ко мне... Да и тот ее не пускал. И как раскидал кто и порастащил все в моей жизни. Единая отрада, что забудусь во сне. А какой сон! И во сне-то одно и одно... Все ждал, всю-то жизнь ждал – вот будет, вот будет... вот устроюсь... И дождался пустого места.

И уже через месяц пришел неизвестный человек и сказал на словах:

– Будьте покойны, ваш сын в безопасности.

Только и сказал. Теперь-то знаю я, что он в безопасности, и получаю через некоторых известия от него. Очень далеко живет. И должно быть, так я его и не увижу...

XXIII

Так изо дня в день и пошла и пошла моя жизнь по балам и вечерам. А к лету вспомнил обо мне Игнатий Елисеич, что я знающий человек, и вручил управлять буфетом и кухней в летнем саду. Очень хорошо поставил я ему это дело и к концу сезона очистил три тысячи.

Чудотворцем даже меня назвал.

– Ну, Яков Софроныч, – сказал, – в лепешку расшибусь, а добуду тебе прежнее положение в нашем ресторане! И гости часто про тебя спрашивают... Похлопочу у Штрасса.

Очень был растроган. А время, конечно, стало поспокойней, и, конечно, они могли снизить к моему положению, потому что я совсем был невинный человек насчет чего. Не почета мне какого нужно было – какой почет! – а хоть бы идти в одном направлении...

А тут опять у меня наступили тревоги, потому что Наташа родила девочку, и тот-то, ее-то, поставил неумолимое требование – направить младенца в воспитательный дом. Раньше все предупреждал, чтобы не допускала себя, а как будет если беременная, чтобы непременно выкинуть через операцию. А она от него скрывала до последней возможности. И ко мне она приходила и плакалась, потому что боялась операции, и я ей отнюдь не советовал.

– Неси свое бремя, Наташа! – говорил ей. – Это как смертоубийство!

И когда он угрозил силой ее заставить, тогда я сам пошел к нему для объяснения. Очень разгорячился:

– При чем тут вы? – упрек мне. – Сами вы разрешили вашей дочери жить со мной, ну и предоставьте мне распоряжаться в моих делах!

Как плюнул в меня.

– Если я этими делами буду заниматься – мне миллионы надо!..

– Я, – говорю, – вас не понимаю...

А Наташа мне из другой комнаты головой показывает – оставь. Но я не мог допустить ему нахальничать.

– Как так?

– А очень понятно. Дети от брака бывают, а вам, кажется, дочь выяснила, что наш брак еще в предположении...

Смело так в глаза мне смотрит и руками в карманах играет.

– Значит, – говорю, – обманули вы ее, господин хороший? Значит, выходите вы прохвост?

– Пожалуйста, без крепких слов! Никого я не обманывал, а наш брак пока невозможен.

И прошу не мешаться в семейную жизнь!

Хлопнул дверью перед носом и в кабинет укрылся. А?! Семейная жизнь!.. Тогда я за ним.

– Я, – говорю, – завтра же в вашу контору явлюсь и вас аттестую со всех сторон!

– А-а!.. Так вы шантаж хотите устроить? Пожалуйста! Но только это для вас будет очень неудобно... Я-то останусь, потому что меня ценят, а для вашей дочери...

Но тут Наташа сзади ему рот зажала и плачет:

– Не надо, оставь... Не расстраивайся... – а сама мне глазами.

А он, подлец, вывернул голову и резко так:

– Оставьте мою квартиру! Я не желаю слушать от всякого...

И опять она ему рот зажала.

– Мне уж сейчас этот ребенок ваш больше ста рублей стоит!.. Я кассирше за Наташу плачу...

А та-то, мямля, по голове его гладит, рот кривит и мне глазами мигает. И спрашивает:

– Виличка, успокойся... не волнуйся...

Я бы его успокоил, подлеца!.. Вот Наташа... Что случилось! Ни самолюбия, ничего... А какая была настойчивая!..

Родила она в приюте девочку. И взял я ее к себе. Внучка... Все-таки внучка... Юлька... Сытенькая такая, крепкая. Корзинку из-под белья ей устроил и хозяйскую девчонку нанял за два рубля ходить за ней и молоко греть. Вот у меня и стал свет в комнатке.

Придешь с бала, а она тут, кряхтит в корзинке. Ночью проснешься – почмокивает. Как жизнь опять у меня началась. И Наташа чаще прибегать стала. Посидит, повертит ее, поморгает – и к нему.

И счастье мне Юлька принесла. Сижу я с ней как-то, бородой ее щекочу, и заявляется вдруг ко мне Икоркин. Вот ведь ловкий парень! Бунтовал в ресторане и требования предъявлял, а не погиб. И говорит торжественно:

– Яков Софроныч! Должен объявить вам поручение... Идите опять к нам, в нашу дружную семью!

И руку за борт. Что такое?

– Сейчас же можете идти.

Возрадовался я и вспомнил про заботу Игнатия Елисеича.

– Нет, тут метрдотель ни при чем... Мы ходатайствовали через общество перед Штроссом... Теперь у нас влияние...

Так он меня поразил. Помнили меня!

– Да ведь вы наш член... А у нас все члены на учете...

А я и про общество-то забыл. Вот тебе и Икоркин! А так маленький и невидный был, но очень горяч.

– Вот видите, что такое наше общество! Вы теперь не один... А это у вас что же?

И показывает на внучку. А я уж во фрак облакался.

– А внучка, – говорю. – Юлька при мне...

Пальцем ее по подбородочку пощекотал.

– Здорово сосет... может, счастливей нас с вами будет...

Растрогал он меня.

– Очень, – говорю, – вы меня утешили...

А он так серьезно:

– Это не мы, а общественное дело. Мы – люди, а собрание людей – общество.

Очень умный человек.

А тут вскорости и приходит ко мне Наташа. Посидела, поиграла с Юлькой, и что-то тревожная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.